
В. ХАРАЗОВ
ТРУДНЫЕ
ИСТИНЫ
БЫТИЯ

В. ХАРАЗОВ

ТРУДНЫЕ ИСТИНЫ БЫТИЯ

Москва
Издательство
политической
литературы
1979

86.16
Х20

Харазов В. Л.

Х20 Трудные истины бытия.— М.: Политиздат, 1979.— 176 с.

Эта книга о человеческих судьбах. О нелегких судьбах людей, которые долгие годы находились под влиянием религии, но сумели порвать с ней, обретя свое счастье в земной жизни.

Автор книги — корреспондент журнала «Наука и религия». Живо и правдиво воссоздает он сложную жизненную историю каждого из героев книги, повествует о том, как назревал перелом в мировоззренческих принципах, приведший их к атеизму. Герои книги не выдуманы автором. Они живут и трудятся рядом с нами. И это придает повествованию особую достоверность и убедительность.

Книга адресована самому широкому кругу читателей.

Х $\frac{10509-138}{079(02)-79}$ БЗ—13—26—79 0400000000 86.16 2

РАЗГОВОР В ПОЕЗДЕ

(Вместо предисловия)

Было это несколько лет назад. Я возвращался из интересной, но утомительной командировки по северу Красноярского края. Поезд на Москву уходил из Красноярска в полночь. Когда я вошел в свое купе, двое моих попутчиков, один лет двадцати пяти, другой значительно старше, уже устраивали на столике дорожный ужин, а третий, мужчина лет шестидесяти, с коротким седым ежиком, лежал на верхней полке и читал.

Я поздоровался. Попутчики приветливо ответили и представились. Оба оказались московскими инженерами, сослуживцами. Младшего звали Юрой, старшего — Григорием Павловичем.

Третий попутчик на приветствие ответил, но себя не назвал. От предложения разделить с новыми знакомыми ужин я, как и сосед на верхней полке, отказался, забрался на свое место и тут же заснул.

Проснулся я поздно. За окном светило блеклое осеннее солнце, тянулась желтая от выгоревшей травы степь. Я повернулся к стене и попытался снова заснуть, но то ли сон уже ушел от меня, то ли его спугнули громкие голоса попутчиков.

— Без веры человек в этом мире вроде сироты в чужом доме,— убеждал обладатель низкого, чуть простуженного голоса, по которому я признал соседа по верхней полке.— Вера для души то же, что позвоночник для тела. Вынь из человека позвоночник — что останется? Так и вера — она не дает душе сломаться. А если нет в человеке веры, то и душа его вроде перекати-поля, гонима по жизни всяким ветром и по любым колдобинам...

— Да какая же вера-то может удержаться в XX веке? — задорно перебил его Юра.— Вы вокруг

себя, Николай Иванович, посмотрите. Телевизоры, лазеры, ЭВМ, огромнейшие ГЭС, атомные электростанции... Человек земную природу себе подчинил, по Луне ходит, космические корабли снимки передают с других планет... И все это, заметьте, на основании новейших научных данных и точного технического расчета. О какой вере тут может идти речь? Да и почему человек должен верить? Зачем? Человек должен знать! Именно в знании его могущество. Если бы человек основывал свои действия не на знаниях, а на вере, мы бы с вами еще в пещерах жили и в звериные шкуры одевались...

— Молоды вы еще, Юра,— перебил его в свою очередь Николай Иванович,— молоды, а оттого горячитесь, в собственные доводы не вслушиваетесь, желаемое за действительное принимаете. Да только все это одно шаманство, пустое сотрясение воздуха, и не более того. Эк вы с верой-то разделались! Да ведь только от слов ваших ничто в мире не изменилось, и вера как была, так и осталась. А кстати, знаете, Юра, сколько в нашей стране верующих людей?

— Точно сказать не возьмусь, но думаю, что от силы один-два на тысячу.

— Ан нет, не один-два из тысячи, а десять — пятнадцать человек из каждых ста! Сколько это по стране-то наберется? Десятки миллионов! Выходит, жива вера в душе человека! И не только жива, но и крепка! А вы ее — в архив! За ненадобностью! Это вам, Юра, она не нужна, а в мире миллионы людей в ней и только в ней смысл своей жизни видят, силы в ней черпают, как Микула Селянинович в матушке-земле. Да и то сказать, что вы, молодежь, о вере знаете-то?

— Да кое-что знаем,— ответил Юра,— и не так уж мало, если учесть, что научный атеизм проходили...

— Вот именно — проходили,— опять перебил его Николай Иванович,— проходили стороной, да и глянули мимоходом. А что увидели? Вы и Достоевского так же вот «проходили», и Льва Николаевича Толстого... Образ Наташи Ростовой, образ Раскольникова, образ Алеши Карамазова. У меня внуки любого писателя только так и помнят: «В романе «Преступление и наказание» писатель с потрясающей силой запечат-

лел образ...», «В романе «Воскресение» писатель с потрясающим реализмом воссоздал образ...» А дальше все одно и то же, одними и теми же словами, вроде характеристики с места работы. Послушаешь — все на одно лицо, убери имена — и ни в жизнь не догадаешься, о ком речь идет. Вот так вы все и «проходите» и все, что «проходите», пытаетесь в схему, в формулу вогнать, а потому и проходите мимо сути, мимо мятущейся души человеческой. Потому и не понять вам веру, как и вообще не понять душу человеческую. Для вас все это слишком сложно. Вы привыкли не мыслить, а вычислять: дважды два — четыре, четыре, деленное на два,— два...

— Ну зачем же так примитивно,— усмехнулся Юра,— дважды два — это сейчас в первом классе учат. А мы как-никак институты окончили. Высшая математика, ядерная физика, теория относительности, топология — тут все далеко не так просто, как вам кажется, тут дважды два — далеко не всегда четыре, тут именно мыслить надо...

— Да я ведь про дважды два фигурально выразился, а вы и тут буквально восприняли. В том-то и беда ваша, что именно не мыслить привыкли, а вычислять, оттого и воспринимаете все буквально. Воображение ваше, дух ваш оттого бессилен, не может от грешной земли оторваться. Ну что вы мне про высшую математику да про физику талдычите? Разве вы их, Юра, создали? Вы только пользуетесь ими. И всей-то заботы — найти нужную формулу, составить удобное для решения уравнение, которое до вас уже открыли и решили. То есть опять-таки разложить по полочкам. А дальше — одни вычисления. Вот и получается то же самое дважды два, только на другом уровне. А суть-то в том, что привыкли вы готовыми формулами, уравнениями, схемами оперировать, а мыслить не привыкли. Если что в ваши формулы или схемы не укладывается, значит, глупость, значит, выбросить за ненадобностью. А ведь ни человеческую душу, ни веру вычислить невозможно! Нет таких формул и никогда не будет. Вы-то ведь думаете, что пренебрегаете верой от мощи знаний ваших, от силы убеждений! Только зря вы себя, Юра, обманываете — не от знаний это и не от убеждений, а исключительно от лености ума и убогости духа. Мираж один эти ваши зна-

ния и убеждения, мираж. И вы это чувствуете, теряетесь от этого, а потому в слова играете, сами себя гипнотизируете. Это душа ваша бессмертная высшего смысла ищет, откровения страждет. А вы ее, бессмертную, тленным умаслить пытаетесь, тщитесь непознаваемое познанным представить. Вот и приходится вам шаманством заниматься, заклинаниями... Ведь вон как у вас все здорово выглядит: человек природу подчинил себе, космос покорил, по Луне ходит... Послушать — так вы уже самому богу равны. И ведь верите в это, верите, как шаман в свои заклинания! Да только что-то не вяжется у вас слово с делом. Раз вы природу себе подчинили, то, стало быть, и распоряжаетесь ею по своему усмотрению, вроде как токарь своим станком, а стало быть, сами себе наводнения устраиваете, землетрясениями города разрушаете и людей губите, засухами себя балуете, эрозией почвы да пыльными бурями развлекаетесь?

— Ну, это уже издержки производства,— отшутился Юра,— я ведь не это имел в виду...

— Конечно, не это,— не давал себя сбить Николай Иванович,— этого вы не любите. Это в схемы вашего могущества не укладывается. А только, как ни поверни, есть все это, существует, нравится вам или нет. И потому прелюбопытная ситуация складывается: либо вы подчинили себе природу и тогда несете ответственность за все, что она вытворяет, либо все эти стихийные бедствия происходят помимо вашей воли, но тогда смешно и глупо утверждение о том, что вы подчинили себе природу. Да и потом что вы понимаете под словом «природа»? Природа — это ведь и планеты, и звезды, и галактики, и сам человек. Так что же, выходит, вы научились управлять звездами и галактиками? Да вы собой-то и то еще управлять не научились, не то что звездами и галактиками. Иначе откуда же пьянство, сквернословие, воровство, хулиганство, ложь, зависть, обман? Нет, Юра, ничего вы не подчинили и не покорили. Просто шаманствуете, заклинания творите, желаемое за действительное принимаете. А все почему? Да потому, что душа ваша бессмертная тоскует, мечется в прокрустовом ложе материализма. Ей ведь не материя, ей вечные истины нужны, высший смысл. Человек не может жить без веры! Человеком быть перестает. А во что же ему верить, если его учат,

что бога нет? Вот, увидев, что совсем без веры-то нельзя, вы ему и выдумали новую веру, только по привычке к схемам, формулам да вычислениям вы в этой своей вере на место бога поставили науку, которую человеку подчинили. Только с этой верой у вас неувязочка получилась. Бог-то, он не разумом, а чувством постигается, душой, тут для них прóстор необъятный, высоты нерукотворные. Разуму же верующего человека во все века работы хватало. А науку душой, чувствами не постигнешь, здесь разум и только разум нужен. Вот душа-то и осталась у вас неприкаянной, вроде безработного,— ни пищи, ни дела. К тому же бога-то постигнуть любой человек может — было бы желание и усердие, а науку — избранные. Вот и получается, что верят-то в науку от знаний и по убеждению единицы, по заблуждению, вроде вас, Юра, десятки тысяч, а не верующих ни в бога, ни в науку — десятки миллионов. И от этой-то вашей научной веры, а пуще от полного безверия и творится пьянка, хулиганство, сквернословие, ложь и обман!

Николай Иванович говорил громко, то понижая, то повышая голос, и когда умолк, в купе некоторое время слышалось лишь его взволнованное дыхание.

— Если вы позволите,— вступил в разговор Григорий Павлович,— я тоже скажу несколько слов. Мне ваша дискуссия отчасти напомнила соревнование в перетягивании каната... Как по эффективности усилий, так и по своей сути. О чем, собственно, спор? Насколько я понимаю, вы, Николай Иванович, утверждаете необходимость веры для человечества и для каждого человека, а Юра эту необходимость отрицает. Тут позиции сторон ясны. А вот дальше начинается сплошная путаница. О какой вере идет речь? О вере во что? Николай Иванович, ратуя за веру вообще, насколько я понял, отстаивает веру религиозную. А ты, Юра, какую веру отрицаешь?

— А я, Григорий Павлович, всякую веру отрицаю, а тем более религиозную. Я атеист и считаю, что человек должен знать, а не верить. Вот вы, Николай Иванович, сетуете, что в мире существуют ложь и обман, что они от безверия происходят. А я считаю, что наоборот — именно от веры. Если я во что-то верю, то меня можно и обмануть, можно мне и солгать. А если я что-то знаю, то уж тут меня никто не обманет.

— Да ведь человек-то не бог, чтобы все знать, да и не все можно разумом постичь!

— Конечно, не бог. А вот насчет разума, это уж вы, Николай Иванович, извините. Никаких принципиальных ограничений на этот счет не существует. К тому же человек все больше перекладывает чисто механические функции разума на плечи электроники, оставляя себе именно творческую, познавательную деятельность. Если сегодня автоматическая система управления производством выдает практически любую справку о том, что делается и происходит в огромном производственном объединении, то завтра подобная ей система будет выдавать любую экономическую, производственную и социальную информацию в масштабах государства, а послезавтра — всей планеты, то есть весь объем знаний, накопленный человечеством, будет в любую минуту к вашим услугам. Кому и зачем понадобится тогда вера? Зачем верить, когда можно знать?

— Видишь ли, Юра,— ответил ему Григорий Павлович,— в пору моей молодости человечество грезило атомной энергией. Казалось, что наступает золотой век энергетики. Больше не надо строить огромные ГЭС, пора прекращать добычу угля и нефти — везде будет работать укрощенный атом. Однако прошли десятки лет, атомная энергия действительно служит человечеству, но совершилось это не так быстро, не так легко, а главное, совсем не в тех масштабах, как ожидалось. Нечто подобное произошло и с вычислительной техникой, которой вы только что отдали дань. Каждый раз возможности новых открытий казались безграничными. Но проходило время, и определялись границы, во всяком случае на ближайший обозримый период. И это в общем-то естественно. Практическая реализация новых открытий оказывается сложнее, чем представляется вначале. А у людей, далеких от науки, в таких случаях наступает разочарование, порой даже какое-то неверие в ее возможности. И психологически это понять можно. Я думаю, Юра просто погорячился. Утверждать, что человек полностью подчинил себе или покорил природу, в корне неверно. Наука только открывает законы природы и ставит их на службу человеку. Но отменять или изменять законы природы она не может. И представление о всемогуществе науки,

именно всемогуществе, дезориентирует человека, искажает истину. И тут кое в чем я согласен с вами, Николай Иванович, хотя не во всем и уж тем более не в главном. Я уверен, что философ или человек, специально занимающийся проблемами атеизма, ответил бы вам более аргументированно и более убедительно. Но я и Юра по образованию инженеры, а атеисты — по убеждению. Однако убеждения эти, конечно, не на пустом месте возникли. Видите ли, человеку, как существу, наделенному разумом, свойственно познавать мир. Так уж он устроен...

— Таким его сотворил создатель...

— Николай Иванович, давайте пока не будем об этом спорить. Вы считаете — создатель, а я — эволюция, труд и социализация личности. Так или иначе, но человеку свойственно стремление познавать законы, по которым существуют и развиваются природа и общество, и, применяясь к этим законам, ставить свои цели и добиваться их осуществления. И при этом, заметьте, человеку с самых древних времен свойственно было стремление к целостному представлению об окружающем мире и его законах. А поскольку знал он о мире и его законах очень мало, то пустоты между островками знания заполнял морем домыслов, приписывая природе свойства, присущие человеку и только человеку. Отсюда и берут свое начало всевозможные духи гор, лесов, рек и озер. Причем, пока человек довольствовался небольшим участком реки и ближним лесом, и созданные его воображением сверхъестественные силы тоже носили, если можно так выразиться, мелкопоместный характер, действовали в пределах этого же участка реки и ближнего леса. Но чем большее пространство осваивал человек, тем сложнее становились его связи с природой и окружавшими его людьми и тем больше могущества и непостижимости приписывал он сверхъестественным силам, потому что островки знания хотя и разрастались, но были еще малы и не связаны между собой.

— Так вы, Григорий Павлович, хотите сказать, что религия — продукт невежества? — с усмешкой спросил Николай Иванович.— Оно конечно, так вам удобнее, да и проще. Не ожидал я от вас такого примитивного решения. Вы не в пример вашему спутнику показались мне человеком мыслящим. И вдруг — на тебе!

— А вы бы сначала дослушали меня, а уж потом делали выводы. Религия действительно в известной мере продукт недостатка знаний, который восполнялся фантастическими представлениями. Но если бы религия была только системой неправильных представлений о мире и его законах, то все было бы гораздо проще и религия никогда не приобрела бы такого влияния на умы и сердца людей. Сложность религии в том и заключается, что фантастические и одновременно упрощенные представления о мире переплелись в ней с народным эпосом, с традициями жизненного уклада, с представлениями о справедливости, о добре и зле. И неискушенному человеку трудно разобраться, где здесь правда, а где выдумка, где отражение реальных событий, а где лишь мечта об избавлении от тяжкого труда и векового бесправия. К тому же, хотя религия и объявляет многое, как, например, в христианстве догмат о триединстве бога, великой и непостижимой тайной, на самом-то деле ничего таинственного в том нет. Наоборот, именно своей доступностью и простотой содержания своих псевдотаинств она и привлекает подчас людей...

— Ну, тут уж вы меня простите, Григорий Павлович! Триединство бога — это действительно великая тайна. Это разумом не постичь и на ваших ЭВМ не вычислить...

— Да почему же не вычислить, почему же не вычислить? — воскликнул Юра.— А вы знаете о том, что фотон обладает одновременно свойствами частицы и волны, хотя по здравому смыслу это невозможно! А знаете, что электрон может одновременно находиться в разных местах? Чем не двуединство и не вездесущность! И ведь именно разумом постигли, именно вычислили! Так почему же триединство не постичь?

— Ты, Юра, горячишься,— остановил его Григорий Павлович.— Я к тому и веду разговор, что в принципе понять так называемые таинства религии не так-то трудно. А вот вычислить эти таинства невозможно — можно представить себе то, чего нет, но вычислить то, что не существует, действительно невозможно. Математика — наука строгая. Она может производить самые абстрактные построения, но отталкивается всегда от конкретных данных...

Видя, что конца этой дискуссии не будет, я спустил-

ся со своей полки, поздоровался с увлеченными спором попутчиками и пошел умываться.

Когда я вернулся, разговор шел уже в несколько иной плоскости.

— Мы ведь не отрицаем технический прогресс,— рассуждал Николай Иванович,— да и глупо было бы его отрицать. Только вот ведь какая забавная ситуация складывается: вы, материалисты, пытаетесь представить дело так, будто этот прогресс только вчера начался, будто благодаря вашему учению он возник и развивается. А ведь неправда это, Григорий Павлович. Технический прогресс, он ведь еще бог знает когда начался, чуть ли не от Адама и Евы! Вы фильм «Девять дней одного года» изволили смотреть? Там об этом хорошо сказано, когда про изобретение колеса разговор идет.

— А вам вера не запрещает смотреть кино? — спросил Юра.— Я где-то читал, что баптистам нельзя ходить ни в кино, ни в театр!

— «Все мне позволительно, но не все полезно», сказано в Библии. «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною».

— А как насчет того, что «не любите мира, ни того, что в мире»? — усмехнулся Григорий Павлович.— Вроде бы противоречие получается?

— Почему же противоречие? — тоже с усмешкой возразил Николай Иванович.— Диалектика! Все в этом мире полезно мне, пока обращает мои мысли к богу, и вредно, если отвращает меня от бога. А вот у вас действительно противоречие с техническим прогрессом получается, причем противоречие, как вы сами изволите выражаться, глобального характера. Ведь прогресс-то, Григорий Павлович, людям от бога дан и призван освободить человека от всего суетного, мелочного для служения высшим истинам, для стремления к богу. А теперь, когда бога-то забывать стали, когда вместо бога материи поклоняться начали, и прогресс не во благо, а во зло человеку оборачивается. А почему? Да потому, что мечется душа человеческая, смысла высшего ищет, горения жаждет, подвижничества. От Адама и Евы, от Каина с Авелем мечется она, раздираемая добром и злом, любовью и ненавистью. Вас-то послушать — все просто получается! Человек-де существо социальное, бытие определяет сознание, вся

суть в условиях существования человека, которые его-де и формируют. Помести, мол, человека в одни условия — он вырастет добрым, помести в другие — злым. Стало быть, все дело в условиях жизни. Измени их — и человек сам собой станет добрым, честным, бескорыстным, справедливым и совестливым. Вот вы и меняете условия жизни человека. Уже шестьдесят лет меняете. Добились вы успеха? Конечно, добились: человек сыт, обут, одет, имеет свою крышу над головой. Заболеет — его лечат бесплатно. Хочет учиться — его учат любой профессии и специальности. Кажется, чего еще желать человеку? Кажется, все свои условия вы создали, чтобы он стал добрым, честным, справедливым и совестливым. А стал он таким? Все вы просчитали, все умножили и поделили, только душу человеческую не изволили в расчет принять. А в ней-то, в душе, суть и соль человека, его высшая сущность. Сколько до революции было в России богатых людей? Все имели, что душа ни пожелает! А были они от этого лучше, добрее, праведнее? То-то и оно, что не были! А возьмите бедняка — становился он злее, завистливее, лживее от того, что с хлеба на квас перебивался? В какой дом в деревне исстари просились переночевать путники — в богатый или бедный? То-то и оно! Значит, не условия важны, в которых живет человек, а стремления его, движения души! Злой, корыстный, лживый человек будет таким же и в богатстве и в бедности, а добрый, честный да праведный таким же и останется и в радости, и в горе, и в нищете, и в роскоши. Я вот вас спрошу: почему этот человек жаден и зол, хотя у него все есть? Что вы мне ответите? Вы скажете, что его богатство развратило, жадность да зависть в нем воспитало. Тогда я опять спрошу, а почему вон тот жаден и зол, хотя нищ и гол? Его-то уж богатство не могло развратить, он его и не нюхал! Что вы ответите? Мол, обездолен он, потому зол, потому и жаден, что своего ничего не имеет, что живет не по-человечески. А про доброго я спрошу, вы и про него то же самое скажете. И довольны будете, что и мне объяснили, и сами все поняли. Да вот только суть дела от ваших ответов яснее не становится, а еще больше запутывается. А я вам так скажу, Григорий Павлович! Вы злого да подлого человека хоть бриллиантами осыпьте — он только злее и подлее от этого станет, потому как воз-

можностей для проявления своей натуры у него больше будет. А у доброго да справедливого все заберете — он и тут сумеет добрым остаться! Потому что не материальное важно для него, а духовное, не условия жизни ценит он превыше всего, а нравственные стремления души.

Вот тут-то мы, Григорий Павлович, и подходим к сути нашего спора. Вы, материалисты, объясняете человека условиями его жизни, а мы, верующие,— его стремлениями, нравственными побуждениями. Спор этот, как вы знаете, не вчера начался и не завтра кончится. И вот кажется мне, что проигрываете вы, Григорий Павлович, в этом споре. Поначалу-то вы большую силу набрали. А все почему? Да потому, что не к духовному, а к материальному в человеке обращена ваша теория. А человек, известно, слаб и грешен. Какому же голодному не хочется есть, какому озябшему не хочется согреться? Вот и пошел за вами народ, все бросил, и веру в том числе, и пошел за вами в обещанное царство божие на земле. Ну, накормили вы голодного, дали крышу над головой бездомному, исцелили страждущего. Честь вам за то и хвала — это я серьезно говорю — честь и хвала, и зачтется вам в высшем смысле. Да только дальше-то что? Плоть-то вы ублажили, а дух, он ведь своего требует! Что вы ему предложить можете? Дальнейшее улучшение жизненных условий? Так это опять же не для духа, а для плоти! Всестороннее развитие личности? А во имя чего? Да опять же ради дальнейшего улучшения жизненных условий! Вот у вас и получается, что живет человек для того, чтобы свои жизненные условия улучшать, другими словами, ублажать свою плоть. Потребителя растите, Григорий Павлович, если выражаться современным языком. Духовно нищего и убогого человека создаете. Условия у человека сейчас совсем иные, чем прежде, и год от года все лучше становятся. Однако отчего хулиганство, пьянство, стяжательство, зависть, обман? А оттого они, что эти люди дух свой убили, душу свою растоптали. Одни поверили в то, что материальные блага и есть смысл жизни. Вот и гонятся за ними, ради полированного стола готовы по душам ближних своих идти. А другие, кто в ублажении плоти не согласны видеть смысл своей жизни, те-то и пьянствуют и хулиганят. Это дух их бунтует против бессмыс-

ленности такого существования, души их мечутся... Человек потерял меру добра и зла, истины и заблуждения, праведности и подлости. Бог, бог, молодой человек, есть любовь, бог есть добро, бог есть истина. Изгнав бога из своей жизни, люди утратили меру добра и зла, смысл и цель жизни. Есть время, сказал Екклезиаст, разбрасывать камни, и есть время собирать камни, есть время сеять, и есть время жать. Вы, материалисты, посеяли безверие, а пожинаете нравственный и духовный хаос. Вы посеяли безбожие, а пожнете гибель человечества!

Если раньше горячился только Юра, а Николай Иванович, так же как Григорий Павлович, был спокоен и чуть ироничен, то теперь его монолог становился все более страстным. Пальцы его вцепившихся в стол рук побелели, лицо и шея побагровели. Голос его, прежде ровный и чуть хрипловатый, не звучал громче, но незаметно, исподволь, густел от внутреннего напряжения, набирая силу и властность. И когда он умолк, мертвая тишина, воцарившаяся на несколько секунд, произвела едва ли не более сильное впечатление, чем сама речь.

Николай Иванович эффектно, не шевелясь выдержал паузу, затем достал платок и вытер капли пота, выступившие на лбу и шее...

* * *

Мы еще вернемся к этому спору, ибо он по-своему знаменателен и интересен, как интересен всякий разговор, в котором пытаются найти истину. Недаром говорится, что истина рождается в споре. Но бывает, правда, что истина и гибнет в споре, не успев родиться, если спорящим важна не она, а собственная победа.

Слушая моих попутчиков, я невольно вспоминал трудные и во многом драматичные судьбы людей, с которыми мне доводилось встречаться, подолгу беседовать, людей, посвятивших свою жизнь поискам истины. Может быть, их опыт, выстраданный десятилетиями поисков, разочарований и надежд, и есть истина? Конечно, не абсолютная, конечно, в чем-то неполная, но все-таки истина, которую можно было бы смело противопоставить доводам верующего человека, с которым мне довелось встретиться в вагоне поезда. Ибо с чего же начинается истина, как не с поиска ее?

ОТЕЦ СИМЕОН И ДРУГИЕ

Примерно в двухстах километрах от Свердловска, на восточном склоне Среднего Урала, на реке Кушве, стоит одноименный город металлургов, основанный еще в 1735 году, после того как в горе Благодатной нашли железную руду. Конечно, вначале это был не город и даже не поселок, а так, поселение возле рудника. Потом здесь построили завод, и поселение стало именоваться Кушвинским чугуноплавильным заводом. Сейчас в городе Кушве более 50 тысяч жителей. В конце прошлого века их было всего около тысячи.

Одна из улиц города и по сей день называется Теплоуховской, но не все теперь уже знают, что названа она по фамилии бывшего владельца рудника. Теплоухов был родом из потомственных уральских рудознатцев, свято чтил древние обычаи, жил по старинке, патриархально, воспринимая рабочих своего небольшого рудника как свою собственную большую семью. Надо сказать, что и рабочие к хозяину относились хорошо, ценили его и за справедливость, и за широкую натуру, и за верность давним обычаям. И если кто-то из рабочих женился, то хозяин рудника обязательно был зван на свадьбу либо посаженым отцом, либо тысяцким, ибо согласно обычаю посаженый отец дарил невесте приданое, а тысяцкий устраивал за свой счет свадьбу.

Потому-то не в пример многим уральским купцам и заводчикам Теплоухов оказался безоружным перед стремительным наступлением молодой буржуазии в конце прошлого века. Времена наступали жестокие, конкуренция усиливалась, вызывая нещадную эксплуатацию трудящихся, однако Теплоухов новых по-

рядков не принимал. И нет ничего удивительного, что после его смерти наследнице, любимой невестке, осталось... шестьсот с небольшим рублей. Тем не менее невестка Теплоухова, Александра Васильевна, принципам его не изменила. И когда после революции в Кушву приехал комиссар, кронштадтский матрос, и предложил сгоряча конфисковать дом Теплоуховых — единственное к тому времени их достояние,— те же рабочие созвали сходку и написали протест, поставив под ним больше восьмисот подписей.

Александра Васильевна вышла замуж еще до революции и в 1916 году родила сына Семена. В том же 1916 году ее мужа призвали в армию и направили в школу прапорщиков, которую он закончил отлично и был оставлен в Екатеринбурге обучать маршевые роты.

Война перемалывала на фронтах полки и дивизии, требуя все новых и новых пополнений. Вскоре с одной из обученных им маршевых рот ушел на фронт и Николай Теплоухов, где и погиб под городом Двинском во время последнего наступления, организованного Временным правительством Керенского.

Получив известие о гибели мужа, Александра Васильевна забрала годовалого сынишку и с тяжелым сердцем отправилась в Кыштым к крестному отцу.

Покидая родину своих дедов и прадедов, вряд ли думала она, что этот первый в ее жизни переезд станет началом долгих скитаний, что, уезжая из родного города ненадолго, от силы на год-два, она никогда уже больше не пройдет по Теплоуховской улице...

В Кыштыме Александра Васильевна познакомилась с уфимским парикмахером — Иваном Антоновичем Михайловым и вскоре вышла за него замуж. Иван Антонович был человеком веселым, общительным и, несмотря на то что окончил лишь церковноприходскую школу, отличался начитанностью и любознательностью. К тому же в профессии своей он был умельцем, неистощимым на выдумку, имел хороший вкус, и в городе его за это уважали.

Всем приглянулся Михайлов молодой вдове, и только одно смущало ее в муже — отсутствие убежденной и страстной веры. Конечно, откровенным безбожником он не был, иначе Александра Васильевна и не вышла бы за него, но церковь посещал редко, раз-

говоров о вере сторонился и ревностную веру жены хотя и не порицал, но, судя по всему, и не одобрял.

Александру Васильевну, выросшую в патриархальной, глубоко религиозной семье, это огорчало. Оно и понятно, ибо не только вся ее предыдущая жизнь, но и все самое светлое и памятное в этой жизни было для нее связано с православной верой. Рождался ли кто, женился, умирал, радость ли приходила в семью, горе ли заглядывало, всех благословлял, всех утешал местный священник в неказистой деревянной церквушке. Всех он знал от мала до велика, и все знали его. Здесь, в сумрачной и душной церквушке, отрешались на какое-то время от тяжкой и неотвратимой повседневности, здесь возвышенной и таинственной службой начинался любой праздник, здесь, на исповеди, очищали душу и совесть, каясь священнику в том, в чем не всегда решались признаться даже себе. Да и куда еще кроме церкви можно было пойти в Кушве — не в городе и не в селе, где избыть горе или радость? Разве что в кабаке?

Хаживали и туда, и не редко. Но то был совсем другой «резон», как говорил старик Теплоухов. Кабак был для разгула души, не знающей, как еще дать выход бродящим в ней смутным силам, для хмельного забвения от тоскливых однообразных забот или неизбывного горя. Но кабак был потом, а вначале все равно была церковь. И самый распропащий босяк, давно пропивший и дом, и семью, и здоровье, и, казалось бы, саму совесть, шел к ней в минуты просветления... Ибо не только храмом божьим была для жителей Кушвы церковь и не только служителем ее был местный священник. Была она символом принадлежности к роду своих дедов и прадедов, которых вот в этой церкви и крестили, и венчали, и отпевали и которых вот в эту же купель окунали. А других символов в Кушве в те времена не было.

Впитав все это, как говорится, с молоком матери, Александра Васильевна перенесла свое отношение к местному храму на веру вообще и уже до конца своей жизни веровала убежденно и ревностно, твердо придерживаясь принципа — без бога не до порога.

И конечно же встретив в своем новом муже холодность к вере и даже некий скептицизм, Александра Васильевна весь жар своей религиозности обратила

на маленького сына. Обычно покладистая и покорная воле мужа, в отношении к вере Александра Васильевна оказалась жесткой и неуступчивой. В семье раз и навсегда установился порядок, вынесенный ею еще из отчего дома. Жизнь шла в твердом соответствии с православным календарем. Александра Васильевна и маленький Семен неукоснительно соблюдали все посты, все православные праздники и, куда бы ни заносила их жизнь, первым, самым непременным делом своим на новом месте считали посетить местную церковь и познакомиться со священником...

Так вот и получилось, что даже самые ранние воспоминания детства были у Семена нерасторжимо связаны с иконами, молитвой, церковной службой, со всем, что в его сознании ассоциировалось с православной верой. И уже с детских лет не мог он себе представить жизни без православной церкви, без ежедневной молитвы, без великолепия трепетного таинства церковной службы.

* * *

Революцию Александра Васильевна восприняла не то чтобы враждебно — это чувство ей вообще было несвойственно,— а скорее с недоумением. Иного уклада жизни, чем тот, в котором выросла она, ее родители, ее деды и прадеды, Александра Васильевна просто не могла себе представить. Да она и не хотела ничего иного, чем этот, привычный, понятный и бесконечно дорогой для нее мир, в котором прошли лучшие годы ее жизни — ее юность. Ни недовольство, нараставшее среди рабочих, крестьянства и интеллигенции, ни противоречия общественной жизни не проникали за высокую ограду дома Теплоуховых. И потому революция представлялась Александре Васильевне просто огромной всеобщей смутой, которая рано или поздно должна была улечься, чтобы смог опять воцариться прежний привычный порядок жизни.

Иван Антонович, ее новый супруг, относился к революции равнодушно. Она ничего не изменила в его жизни, да и терять ему было немного. Но Михайлов был человеком увлекающимся, и в душе его постоянно бродило беспокойство, жажда каких-то перемен в жизни и новых больших возможностей. И потому вскоре после свадьбы он предложил жене переехать в Читу, столицу Дальневосточной республики, о кото-

рой в Кыштыме ходило множество противоречивых слухов. Александра Васильевна восприняла этот проект без особого энтузиазма, но перечить мужу не стала.

Мимо поезда медленно тянулась на запад бескрайняя Россия. Выжженные солнцем плоские равнины сменялись березовыми колками, набегала к самой насыпи холмистая чащобная тайга, спокойно и мощно обтекали опоры мостов великие сибирские реки. Гудели разноголосо деревянные вокзалы, то и дело в вагонах появлялись патрули, проверяя документы. Александра Васильевна хмурилась, нервничала. Иван Антонович тоже нервничал. А маленький Семен целыми днями смотрел в окно на поля и перелески, на неведомых людей в незнакомых селах и городах, на все, что потом он часто будет связывать с простым и дорогим словом — Родина.

Позади остался Иркутск, стремительная Ангара ушла на северо-запад, долгая гладь Байкала скрылась за отрогами Баргузина... Все дальше на восток уходил поезд, все меньше родной земли оставалось впереди...

* * *

В Чите Александра Васильевна постаралась устроиться на прежний лад. В чем-то это удалось, и жизнь потекла в привычном русле — с посещением церкви, обязательными молитвами утром и вечером. Вставала Александра Васильевна рано, будила маленького Семена и еще сонного вела к заутрене. Потом, в течение дня, не раз и не два находила она повод, чтобы поговорить с сыном о боге, о святых и великомучениках, о величии и таинствах веры.

В мире детского воображения Семена бог существовал рядом с Кащеем Бессмертным, Бабой Ягой, Ильей Муромцем и Соловьем Разбойником. Только в отличие от них, как уяснил он из рассказов матери, бог постоянно наблюдал и за ним, Семеном, и за матерью, и за отчимом то с больших в серебряных окладах икон, висевших в доме, то с неба, то незримо присутствуя на службе в церкви. И никуда, как объяснила мать, нельзя спрятаться от его строгого, взыскательного взора. Даже если запереться в темном чулане, бог все равно будет все видеть. Такое необыкновен-

ное свойство сильнее всего поражало Семена, и ощущение, что он всегда и везде на виду, очень долго не покидало его.

В отличие от Александры Васильевны, стремившейся любую обстановку, в которую она попадала, приспособить под собственный образ жизни, Иван Антонович сам приспособлялся к этой обстановке. В Чите он развил бурную деятельность, открыл собственную парикмахерскую и строил различные проекты расширения «дела». Трудно сказать, что вышло бы из этого, если б он не познакомился с венгром Адольфом Кнахлохом.

Кнахлох был владельцем большой парикмахерской, в которой на видном месте красовалась золотая медаль «Гран-при», полученная им когда-то на парижском конкурсе дамских мастеров. Во время первой мировой войны он был мобилизован, попал в плен, да так и застрял в снежной Сибири. Впрочем, особенно жаловаться на жизнь ему не приходилось — он был лучшим дамским парикмахером едва ли не во всей тогдашней Дальневосточной республике. Но его инициатива требовала простора. Быстро и прочно сойдясь на этой почве, приятели часто до поздней ночи предавались мечтам и строили заманчивые проекты монополизации парикмахерского дела. Между тем реальность все больше расходилась с мечтами. В Дальневосточной республике шла национализация частных предприятий.

Вскоре Кнахлох уехал в Китай и открыл в городе Харбине большую респектабельную парикмахерскую. От него приходили восторженные письма, в которых он звал Михайлова в Харбин и рисовал блестящие перспективы для осуществления совместных планов.

Харбин — не Чита, и уехать за границу Михайлову, не говоря уже о Александре Васильевне, до той поры не приходило в голову. Началась борьба между привязанностью к своей родине и перспективой развернуть собственное «дело». Новые порядки были им чужды, в возможность осуществления тех идеалов, о которых писали газеты, они не верили. Но родина есть родина — покинуть ее и уехать в неведомый Китай поначалу казалось им невозможным.

Тем временем от Кнахлоха шли письма одно другого радужнее. Беспокойная натура Ивана Антонови-

ча в конце концов взяла верх. Он уговорил жену, добился визы и в 1922 году вместе с Александрой Васильевной и шестилетним Семеном выехал в Харбин.

* * *

Октябрьская революция, а вслед за ней гражданская война разметали по окраинам России множество людей. Среди них оказались и бывшие столпы царской России, и ультрареволюционеры, ставшие контрреволюционерами, бывшие купцы и фабриканты, бывшие гвардейцы и жандармы, бывшие чиновники и священники. И среди всех этих «бывших» крутилось множество шулеров, мошенников и проходимцев разного ранга. Но попадались и люди, которые не были сознательными врагами новой власти, однако не сумели понять происходивших перемен, либо люди, просто захлестнутые волной эвакуации, стремительного бегства, всеобщей паники перед «красными ордами».

Вместе с остатками белогвардейцев и интервентов они бежали от последних залпов гражданской войны через ту границу, которая оказалась ближе, в Турцию, Румынию, Германию, Монголию, Японию, Китай и либо пробирались на запад — в Италию, Францию, Швейцарию,— либо оседали в приграничных городах, пытаясь создать там крохотную копию России.

Одним из таких центров русской эмиграции стал Харбин — столица тогдашней Маньчжурии.

В Харбине удача поначалу и впрямь улыбнулась Михайлову. Иван Антонович открыл одну парикмахерскую, затем другую. Ездил в знатные, влиятельные дома, где нуждались в его услугах. Короче говоря, дела Ивана Антоновича круто пошли в гору.

Александра Васильевна и здесь, в чужом краю, сумела устроить некое подобие прежнего уклада жизни. Верная своей привычке, она подыскала дом в центре города, напротив Николаевского кафедрального собора. Посещала его регулярно, неукоснительно соблюдала православный календарь, постоянно беседовала с сыном о вере и учила его читать не только на русском, но и на старославянском, используя для этого церковные книги, вывезенные из России. И когда шестилетний Семен пошел учиться, он уже хорошо читал по-русски и по-старославянски, знал немало мо-

литв, библейских преданий и легенд, а самым любимым его предметом стали уроки закона божьего.

Для Ивана Антоновича не было секретом, что жена готовит Семена к будущему священнослужителя. Такой выбор ему не нравился, но по установившейся с молчаливого согласия традиции он жене не перечил, справедливо рассудив, что Семену еще жить да жить, а жизнь — штука своенравная, так может завернуть, что все планы поменяются. А пока, думал Иван Антонович, главное — дать парню хорошее образование.

В желании дать мальчику наилучшее образование супруги были единодушны, и после наведения справок и семейного совета Семена отдали в... женскую гимназию, которая считалась одной из самых дорогих и лучших в городе. Удалось это не без труда и лишь благодаря тому, что Иван Антонович ездил к директрисе домой стричь ее сына. Семен и еще один мальчик, сын известного присяжного поверенного, оказались вдвоем среди нескольких сотен девочек.

Два года, проведенные там, оказали на Семена большое влияние. В бурной, крикливой и разноголосой жизни Харбина эта гимназия была как бы тихой заводью. Здесь учились и воспитывались девочки из знатных и привилегированных семейств, в которых политика, волнения и тревоги были уделом мужчин, целиком бравших их на себя и считавших долгом своей чести оградить от них женскую часть семьи. Педагоги гимназии наравне с учебными дисциплинами воспитывали у девочек хорошие манеры, художественный вкус,— все то, что было не по средствам большинству других учебных заведений.

Семен учился легко, увлеченно. И только одно омрачало его жизнь — сильное заикание. Однако в благожелательной атмосфере женской гимназии этот недостаток как-то сглаживался и притушевывался. За два года Семен закончил три класса и, поскольку пребывание мальчика в старших классах женской гимназии не разрешалось, его перевели в реальное училище, тоже одно из самых дорогих и лучших в городе.

После тихой и чинной женской гимназии реальное училище буквально ошеломило Семена. Жизнь училища вполне соответствовала его названию, ибо и преподаватели, и воспитанники были постоянно в курсе всех городских, да и не только городских, событий.

Мечтательный, застенчивый мальчик терялся среди своих бойких, шумных и горластых одноклассников, которые к тому же были на год, а то и на два старше его и поначалу не упускали случая позабавиться над робким, как девочка, да еще и заикающимся новичком. Семен еще больше волновался, и речь его начинала походить на мучительную нервную икоту, пока не прерывалась отчаянными, безутешными слезами.

Надо сказать, что преподаватели, оценив по достоинству способности Семена, относились к нему благожелательно, старались помочь преодолеть смущение и даже разрешали писать устный ответ на доске. Однако эта поблажка подчеркивала неполноценность мальчика в его собственных глазах, и он все больше замыкался в себе. Вместо приятного и увлекательного занятия, каким она была в гимназии, учеба стала превращаться для него в бесконечную пытку. И только придя домой, Семен сбрасывал напряжение и отходил душой. Александра Васильевна, видя и понимая все, что происходит с мальчиком, но не зная, чем помочь, обнимала его, гладила по голове и говорила:

— Ничего, Сема, ничего. Ты молись богу, бог, он все может, все на земле и на небе по его воле и разумению устроено. Бог услышит твою молитву и поможет. Ты только молись, сынок, больше. Бог — он и поможет... Ты, главное, верь, Сема. Истинная вера, она горы сдвигает...

И Семен горячо молился и верил, что рано или поздно бог услышит его молитву и даст исцеление...

* * *

Первое время уроки закона божьего в классе, где учился Семен, вел отец Иннокентий — симпатичный полный священник с красивым голосом и величавой седой бородой. Он любил детей, и если кто-то начинал шалить или не мог ответить урок, отец Иннокентий никогда не наказывал провинившегося. Но зато он так искренне огорчался, что даже самым неугомонным и ленивым становилось неловко. За Семеном отец Иннокентий некоторое время наблюдал с жалостью и сочувствием, и однажды, когда очередная попытка Семена ответить хорошо выученный урок закончилась горькими слезами, он отпустил класс на перемену,

усадил Семена на колени и стал утешать его, поглаживая по голове. А когда мальчик немного успокоился, отец Иннокентий пообещал, что будет регулярно заниматься с ним и, даст бог, через год-другой Семен даже забудет о том, что с ним когда-то такое было.

Мальчик поверил священнику так же искренне, как верил в то, что бог рано или поздно поможет его беде. Впрочем, для Семена в этом не было ни противоречия, ни измены прежней своей надежде. В его представлении бог всегда незримо присутствовал в храме, а посредниками между богом и людьми служили священники, доводившие до бога людские молитвы и помыслы, а до людей — волю и наставления всевышнего. И потому обещание отца Иннокентия Семен воспринял как ответ свыше на его молитвы.

Конечно, отец Иннокентий не был логопедом. Но он склонен был пробовать свои силы во многих занятиях и нередко в этом преуспевал. Одним из таких занятий отца Иннокентия была медицина, вернее, те ее области, которые соприкасались с психиатрией. За свою жизнь отец Иннокентий вылечил от разных недугов несколько десятков человек, чем заслужил репутацию человека, получившего дар и благословение свыше. Он почти не знал неудач, но, несмотря на многочисленные просьбы об исцелении, брался за дело очень редко, лишь тогда, когда интуиция подсказывала ему, что успех возможен. Конечно, секретов своих отец Иннокентий никому не раскрывал, и потому со стороны эти исцеления воспринимались как нечто таинственное и непостижимое.

Разумеется, ничего этого Семен в ту пору не знал. Он так мечтал избавиться от заикания и так неожиданно было предложение отца Иннокентия, что мальчик всем сердцем уверовал в ниспосланную ему помощь и, естественно, в несомненный ее успех.

Интуиция и на сей раз не подвела отца Иннокентия. Но любителю-психиатру и его подопечному пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться успеха. Были и бурные слезы, и моменты отчаяния, когда мальчику казалось, что ничего не получится, что он так и останется на всю жизнь заикой. Однако жгучее желание излечиться и уверенность в том, что помощь отца Иннокентия ниспослана свыше, всякий раз брали верх, и Семен вновь принимался яростно бороться

со своим недугом. Около четырех лет длилась эта борьба, пока в речи мальчика не исчезли последние следы заикания.

Александра Васильевна восприняла исцеление сына как знамение свыше и еще одно подтверждение правильности жизненного пути, избранного ею для Семена. Надо отметить, что ее намерения к тому времени полностью совпадали с желаниями сына. Как и всякий мальчишка его возраста, Семен мечтал найти среди взрослых такого человека, которому он мог бы во всем подражать и который бы стал прообразом его, Семена, в будущем. И нет ничего удивительного, что таким человеком стал для него отец Иннокентий. Теперь Семен твердо знал, что когда он вырастет, то будет так же, как его наставник, священником. Он с увлечением читал книги по истории христианства, о различных деятелях русской православной церкви.

Политическая деятельность русской эмиграции, обосновавшейся в Харбине, тесно переплеталась с религиозной жизнью города. Впрочем, иначе оно и не могло быть, ибо православная вера, преданность династии Романовых и убежденность в том, что несчастный русский народ стонет под властью узурпаторов-большевиков, были теми китами, на которых держалась русская эмиграция. Именно эти три устоя сплачивали эмиграцию, служили для нее смыслом жизни на чужбине и целью политической деятельности. К тому же и сам Харбин, разросшийся из русского поселка, возникшего в связи со строительством в 1897—1903 годах КВЖД, осуществлявшимся Россией, оставался еще и по составу населения, и по своему облику скорее русским городом, чем китайским. Помимо осевших здесь русских строителей, русской администрации и обслуживающего персонала КВЖД, не пожелавших вернуться на родину после революции, и многочисленных эмигрантов в Харбине жили еще и представители новой, советской администрации КВЖД. В городе были двадцать две русские православные церкви, мужской и женский монастыри, четыре архиерея, один из которых, епископ Нестор, будущий экзарх Китая, не желая подчиняться общему укладу, держал собственное, так называемое Камчатское, подворье.

Духовенство поддерживало и вдохновляло различные эмигрантские группировки и организации, пытаясь объединить их во имя реставрации в России прежнего строя, а те в свою очередь поднимали православную веру как символ своей политической деятельности и старались заручиться поддержкой духовенства в непрестанных междоусобицах. Однако и среди духовенства находились люди, считавшие, что политика — дело мирское и церкви не пристало в нее вмешиваться. К ним относился и отец Иннокентий.

Частью по малому возрасту, а частью и под влиянием своего наставника Семен сторонился разговоров о политике. Зато с удовольствием беседовал о вере и почитал Николаевский кафедральный собор самой большой святыней города. Собор, построенный еще до боксерского восстания, и впрямь был великолепен. Русские умельцы срубили его из толстых лиственниц, не употребив ни единого гвоздя. Внутреннее устройство его создавало ощущение огромного простора, он обладал изумительной акустикой. Для Семена Николаевский кафедральный собор стал как бы вторым домом. К тому времени он знал порядок и содержание почти каждой службы.

Обычно он заранее занимал облюбованное место и терпеливо ждал. Собор постепенно заполнялся людьми и тихим, приглушенным шелестом голосов, словно поднимавшимся вверх и повисавшим под просторным куполом храма. Этот шелест голосов звучал здесь таинственно, как бы отстраненно от самих прихожан, словно где-то в непостижимой вышине вели тихий разговор невидимые и бесплотные существа. Строго глядели в мягком полумраке с богатого иконостаса скорбные лица Христа, девы Марии, апостолов и великомучеников. Семену казалось, что каждый взгляд направлен к нему, что в каждом взгляде таится невыразимый словами вопрос, на который он, Семен, должен дать ответ. Мальчика охватывало трепетное волнение, ему казалось, что под взыскательными взглядами иконописных ликов все его существо раскрывается для всех и как бы растворяется, становясь чем-то единым с самим храмом, с его шумом и полумраком, с постепенно заполняющими его прихожанами.

Одна за другой мягко загорались свечи, и сумрак уступал теплому, золотистому свету, стягивался тенями в углы и расплывался под куполом. Высокими, чистыми голосами откуда-то возникал хор, и Семен завороженно замирал. Какие-то странные воспоминания будили они в его душе, воспоминания о том, чего не было и не могло быть. А может, это пробуждалась память, память не разума, но сердца о тех первых днях и неделях младенчества, когда мать брала его, захлебывающегося плачем от неведомой тревоги, и он, не зная еще и не понимая, что такое мать, вбирал всем маленьким тельцем ощущение чего-то неизбывно родного, ласкового и доброго... Неизъяснимое волнение охватывало мальчика, слезы наворачивались на глаза, и он принимался молиться, благодаря бога за то, что коснулся тот его сердца своей благодатью. И сильнее всех назиданий матери, убедительнее наставлений отца Иннокентия укрепляли веру Семена такие вот моменты.

А когда начиналась торжественная и пышная архиерейская служба, Семена охватывал то невыразимый восторг, то щемящая до слез грусть, то тихая светлая радость. От запаха ладана и воска, блеска свечей, бликами игравшего на серебряных, позолоченных ризах икон, от размеренных, торжественных движений духовенства, облаченного в золотую парчу, и льющихся в мягкий полусвет храма нездешних голосов хора мысли как бы сами собой пропадали, Семен жил лишь чувством, становясь частицей всего происходящего в храме...

Он приходил в себя, когда храм был уже почти пуст, и иногда один, иногда с матерью медленно и отрешенно выходил на улицу. Если кто-нибудь в это время ненароком толкал его — он не замечал, если кто-нибудь окликал,— он не слышал. Он заново переживал службу, как бы вспоминая и закрепляя в памяти пережитые чувства. Вспоминал о своих сверстниках в позолоченных стихарях, прислуживавших архиерею, и жалел, что не может вот так же, как и они, участвовать в служении богу.

Семен поделился своей мечтой с отцом Иннокентием, а затем и со своим классным наставником, сыном архиепископа Димитрия.

Однако отец Иннокентий только улыбнулся, погладил Семена мягкой ладонью по голове и посоветовал подождать своего часа. А классный руководитель стал отговаривать мальчика, убеждая, что у каждого свой путь к господу...

* * *

Как-то во время перемены Семен бродил по двору реального училища. Двор был чистый, ухоженный, и лишь в дальнем углу его лепились один возле другого сараи. Дойдя до них и поворачивая назад, Семен посмотрел вдоль забора. За одним из сараев, укрывшись, стоял отец Иннокентий и курил, пряча папиросу в ладони! Семен замер, совершенно ошеломленный, не веря глазам. Ведь его друг и наставник всегда говорил, что курить — грех! Между тем священник, не замечая мальчика, торопливо затягивался и, выпуская дым, разгонял его, махая ладонью перед ртом.

Семен опрометью бросился в училище. Он ни с кем не поделился своей тайной, но в сердце его острой занозой вонзилось разочарование. Личность отца Иннокентия, которого он всем сердцем любил и уважал, которому стремился во всем подражать, была краеугольным камнем его веры в бога и в людей, в надежность, искренность и справедливость окружающего мира. Но камень этот вывернули, и все здание дрогнуло, грозя похоронить подростка под грудой горьких и недоуменных вопросов. И не к кому было обратиться, не у кого спросить ответ. Свое разочарование в отце Иннокентии Семен перенес на всех взрослых. Он больше не верил в их искренность, в их справедливость, в их авторитет. Он вообще не знал теперь, во что еще можно верить, а во что нет. Даже православная вера, заботливо взращенная в его сердце с малых лет и неустанно, из года в год укреплявшаяся, дала трещину. Детский максимализм Семена не мог примириться с тем, что священнослужитель совершил осознанный и преднамеренный грех и бог тут же не покарал его.

Родные Семена и его наставники быстро заметили перемену в мальчике. И мать, и отчим, и классный руководитель, и отец Иннокентий попытались узнать у него, что произошло. Семен отмалчивался. И только однажды, опустив глаза, спросил отца Иннокентия:

— А бывает, что священники преднамеренный грех совершают?

— Бывает, Сема, бывает,— ответил тот, не догадываясь, о чем идет речь,— священники-то ведь тоже люди. И грешная плоть их одолевает, и соблазны дух искушают. Бывает, что и согрешат...

— А почему же бог их сразу не наказывает? Он ведь знает об этом?

— Конечно, знает. Да господь-то добр и долготерпелив. Помнишь, спросили Христа, до скольких раз надо прощать грехи брату своему, а Христос ответил: не говорю, что до семи, а до седмижды семидесяти раз. Или вспомни апостола Петра — трижды отрекся он от Христа, это ли не грех, а Христос простил его, потому что знал сердце его, знал, что много трудов положит апостол, чтобы утвердить дело и слово божье на земле...

Хотя этот разговор и не убедил Семена, но дал пищу для размышлений и поддержал в нем пошатнувшуюся было веру. Трудно сказать, что больше — пользы или вреда — принесло Семену первое в его жизни разочарование. Прошло время, улеглись горечь и обида, и вера, искренняя и горячая, вернулась к нему, но он так и не сумел обрести прежнее восторженное и беззаботное состояние духа. После случая с отцом Иннокентием осталась в нем потребность понять и осмыслить все, что он узнавал, все, что происходило перед его глазами. Получив невольный толчок, разум его уже не мог остановиться...

Впрочем, были тому и другие причины. Замкнувшись и отстранившись от взрослых, Семен невольно не то чтобы сблизился со своими одноклассниками, но стал присматриваться к их жизни, их интересам, прислушиваться к их беседам. И перед ним постепенно стало раскрываться многое из того, чего он раньше не видел.

Шел 1929 год. Молодая Страна Советов уверенно вступила во второе десятилетие своего существования. А в харбинских ресторанах и кабачках собирались компании русских эмигрантов, отмечая десятилетие своего пребывания на чужбине. Десять лет — срок немалый, и много горячих голов, собиравшихся пулей, шашкой и штыком проложить путь к Москве наследнику Романовых, успело за это время поостыть.

Время разводило эмиграцию по разным полюсам. Одни, горевшие лютой злобой к молодой республике, еще более ожесточились, готовые служить кому угодно и как угодно, лишь бы утолить свою ненависть, другие, тоскуя по родине, уже не желали зла Советской власти, но и вернуться на родину не решались, ибо Россия без царя была для них уже не той Россией, которая была им дорога. Третьи же корили себя за прежнее безрассудство, за то, что не вдумались тогда в происходящие события, поддались панике, доверились чужим взглядам и призывам.

Все сложности этого расслоения, вкупе с запутанной политической обстановкой в самом Китае, становились предметом жарких дискуссий среди воспитанников училища. И хотя Семен еще сторонился шумных споров, он стал размышлять над тем, что слышал. А слышал он вещи удивительные. Оказалось, что директор училища генерал Андокский, человек широко известный в эмигрантских кругах, будучи профессором Академии генерального штаба, отказался вывезти из России библиотеку Академии, заявив, что она должна остаться тем русским офицерам, которые придут на смену офицерству царской армии. Этот поступок вызвал в эмигрантских кругах различную реакцию. Наиболее непримиримые считали Андокского пособником большевиков и впоследствии добились своего — Андокский умер в нищете.

Поступок Андокского был лишь одним из вопросов, над которыми начал задумываться Семен.

В старших классах учителя закона божьего отца Иннокентия сменил архиепископ Димитрий Вознесенский, отец классного руководителя Семена, будущего митрополита Филарета. Димитрию приглянулся вдумчивый, глубоко верующий ученик, да и от сына он слышал о Семене много хороших слов. Надо сказать, что и сам Димитрий и его сын были тоже людьми глубоко, искренне верующими. И тот и другой почитали веру главным и единственным делом своей жизни. И возможно, было бы в отношениях отца и сына полное согласие, если бы не расхождение их взглядов на настоящее и будущее России. А она разведет их в будущем, как говорится, по разные стороны баррикад. После Великой Отечественной войны архиепископ Димитрий вернется на родину, в Ленинград, где про-

ведет последние годы в ладу с самим собой, с верой и со своим отечеством и после смерти будет похоронен на Охтинском кладбище. А его сын, став митрополитом, возглавит в Нью-Йорке эмигрантский православный синод...

Постепенно Семен прочно сошелся с семьей Вознесенских. Их скромная, благочестивая жизнь, бескорыстное и убежденное служение вере окончательно зарубцевали рану, нанесенную когда-то поступком отца Иннокентия. И если раньше Семен старался во всем подражать отцу Иннокентию, то теперь его место в душе юноши заняли отец и сын Вознесенские.

Окончив реальное училище, Семен, не раздумывая, пошел на пастырско-богословские курсы, на которых архиепископ Димитрий вел курс гомилетики[1]. Здесь же под влиянием Вознесенского-младшего Семен признал себя легитимистом, то есть сторонником «законной» династии Романовых. Впрочем, в том, какие это накладывало на него обязательства и что значило быть легитимистом, Семен разбирался слабо. Его влекли вера, служение богу, но Вознесенские, как сын, так и отец, не советовали ему спешить с окончательным выбором.

— Великая честь быть служителем божьим,— говорил архиепископ Димитрий,— но и соблазны велики на этом пути. А паче всего соблазн безверия от большого знания веры и службы...

— Помнишь,— вторил ему сын,— еще мальчиком говорил ты о желании прислуживать во время архиерейской службы, а я тебя отговаривал? Все эти прислужники настолько привыкают к святости алтаря и к процессу богослужения, что в большинстве своем становятся безбожниками. Ты, Семен, сначала жизнь попробуй — ведь богу можно не только в храме служить. А если уж увидишь, что нет тебе другой дороги, тогда, значит, такова воля всевышнего.

Окончив пастырско-богословские курсы, Семен, опять же под влиянием Вознесенского-младшего, поступил в военное училище легитимистов, признавав-

---

[1] *Гомилетикой* называется раздел богословия, рассматривающий вопросы теории и практики церковно-христианской проповеднической деятельности.

ших законным претендентом на российский престол Кирилла Романова, однако не разделявших идею вооруженной борьбы с Советской властью. Русские не должны подниматься на русских — в этом Семен был убежден.

В училище большое влияние на него оказало знакомство с морским офицером Запольским. Широко образованный, всегда подтянутый и корректный, Запольский быстро и коротко сошелся с группой курсантов, в числе которых был и Семен.

Начались долгие разговоры о России, о ее прошлом, настоящем и будущем. Семен, как и прежде, не очень охотно разговаривал на острые политические темы, но уже не был равнодушен к ним. Просто для конкретных разговоров о настоящем и будущем России не было основы — о Советском Союзе в Харбине ходили только слухи, достоверных сведений не было. А разговоры «вообще» надоели Семену еще в реальном училище. Запольский же не только прекрасно знал историю России, но и хорошо разбирался в предреволюционных и революционных событиях, сам был их очевидцем и участником.

Для ребят, увезенных на чужбину малолетними детьми и знавших родину лишь по детским впечатлениям, литературе да ностальгическим воспоминаниям родителей, многие рассказы Запольского были откровением, а его отношение к революции и гражданской войне — полной неожиданностью. Не только отцы, но и деды и прадеды большинства из них были потомственными военными, свято верившими в необходимость и незыблемость монархического строя и считавшими делом своей чести не щадить ни сил, ни жизни для царствующего дома. И потому революцию называли в их семьях смутой, а проигранную гражданскую войну или белое движение — величайшим позором русского императорского офицерства, разгромленного «мужиками».

Запольский же внушал юношам, что самая большая и непоправимая ошибка русского офицерства — участие в белом движении, что офицерству не следовало примыкать к различным авантюристам вроде Краснова, Деникина и Колчака, что надо было хранить верность не погибшему императору, а России и русскому народу.

Мнение Запольского столь противоречило сложившимся у ребят взглядам на историю гражданской войны, на долг и честь русского офицерства, что поначалу между ними и классным наставником возникло даже некоторое отчуждение. Однако Запольский так аргументированно отстаивал свою точку зрения, что постепенно отношения между ними наладились, и ребята вынуждены были признать, что их наставник во многом прав.

Примерно в это же время курсанты училища задумали выпускать свой журнал. Назвали его, не мудрствуя лукаво, «Юнкер», а редактором выбрали Семена Теплоухова. Семен взялся было за дело с большой охотой, но вскоре приуныл. Среди самодеятельных произведений, которые несли ему в изобилии, преобладали ностальгия по какой-то идиллической России и откровенно антисоветские настроения. Семен хотел уже отказаться от своих почетных, но оказавшихся столь неприятными обязанностей, но опять не кто иной, как Запольский, уговорил его, доказав, что если редактором станет кто-нибудь из антисоветски настроенных курсантов, то общее дело от этого не выиграет, а проиграет.

— Поймите, Теплоухов,— внушал ему Запольский,— наша задача воскресить в курсантах любовь к своей родине, погребенную под мелкими обидами и тщеславием их родителей. А для этого ее нужно пробудить прежде всего в тех, кто хочет и умеет писать. И будьте терпеливее, старайтесь понять, почему человек мыслит именно так, а не иначе...

Каждый шаг, каждое свое решение Семен подсознательно сверял со своим религиозным чувством. В разброде взглядов и мнений, настроений и оценок, в котором пребывала харбинская эмиграция, такие люди, как Теплоухов, искали опору в вере. Но православное духовенство Харбина само оказалось в таком же разброде. Одни яростно защищали позицию бывшего патриарха Тихона, проклинали большевиков, Советскую власть и призывали к новому крестовому походу, другие составляли негласную оппозицию тихоновцам, поскольку открыто вступать с ними в спор было опасно, третьи же старались вообще не касаться этих вопросов, ссылаясь на то, что это, мол, дела мирские, суетные.

В такой обстановке Семену приходилось решать свои проблемы самому и самому потом отстаивать свои взгляды. Надо сказать, что эту трудную науку он освоил быстро и хорошо. Уже в четвертом номере редактируемого им журнала, впервые напечатанного в типографии, не было ни одного слова, направленного против Советской России. Конечно, Семен никогда бы не добился этого, если бы на воспитанников училища исподволь, осторожно, но постоянно не воздействовали такие авторитетные и патриотически настроенные люди, как Запольский и некоторые другие...

Вскоре офицерское училище было закончено, и Семена Теплоухова произвели в подпоручики. Однако ни окончание училища, ни присвоение офицерского звания не принесли ему ни радости, ни облегчения. Он устал от бесконечных споров и дискуссий, от необходимости заниматься тем, что было ему не по душе. В его сознании зрело решение отстраниться от всего мирского и уйти в монастырь.

Однако духовные наставники не одобрили намерения Семена.

— Спешишь, Семен, суетишься,— покачал головой архиепископ Димитрий.— Ты искус жизнью пройди, чтобы было от чего уходить, чтобы не влек тебя потом мир своими соблазнами...

Отчим же о монашестве и слушать не хотел.

— Веруешь в бога? Хочешь служить ему? — убеждал он Семена.— Так ведь никто тебе не прекословит. Верь и служи! Но сначала человеком стань, опору себе в жизни найди. Учиться надо, Сеня, учиться! Будешь образованным человеком — куда хочешь иди: хочешь — в атаманы, хочешь — в священники. И везде тебя уважать будут. Сначала выучись — а потом хоть в монахи!

Надо сказать, что помимо стремления к истинному и бескорыстному служению богу у Семена к тому времени сформировалось еще одно стремление — к знаниям.

— Пастырь и духовный наставник мирян,— внушал Семену Димитрий,— обязан читать в душах прихожан самые сокровенные думы и чаяния, чтобы умело и настойчиво направлять их на путь истинной веры. А для этого надо знать и жизнь, и многие науки, способствующие пониманию дел и поступков ближних своих.

И если Семен собрался было в монастырь, то не от знаний и не от учебы хотел уйти он, а от издерганной, насыщенной страхом, интригами и подозрениями жизни харбинской эмиграции.

А жизнь в Харбине день ото дня становилась все сложнее и тревожнее. Власть в Маньчжурии перешла к японцам. Русская эмиграция вначале восприняла этот факт с энтузиазмом. Многие деятели эмиграции были связаны с различными японскими дипломатическими, политическими и военными организациями. Впрочем, не только с японскими. С русской эмиграцией заигрывали и английские, и французские секретные службы. Пользуясь безвыходным положением одних, ненавистью к Советской власти других, тщеславием и стяжательством третьих, из них вербовали всевозможных советников и референтов по «русскому вопросу», а то и тайных агентов, используя для работы в основном среди той же эмиграции. Однако, хотя эти службы и были секретными, их намерения не были секретом для большинства эмигрантов. Становиться платными агентами и осведомителями иностранных разведок никому, за редким исключением, не хотелось. У лидеров русской эмиграции, которые считали себя единственными законными представителями России за границей, были другие намерения. Вожаки различных эмигрантских организаций старались держаться с иностранными политическими деятелями и службами на равных. Подобно тому как секретные службы пытались использовать эмиграцию в своих целях, последняя стремилась использовать различные политические силы заграницы — в своих. До поры до времени вся эта ситуация имела характер некой политической игры, в которой, пожимая друг другу руки и заверяя в самой искренней дружбе, противники стараются загнать друг друга в угол...

С приходом японцев к власти заигрывания с эмиграцией сменились жестким диктатом новых правителей. Под нажимом и бдительным контролем японских военных ведомств был создан «Союз русских офицеров», полувоенная организация, целью которой по замыслу ее организаторов было объединение всех русских эмигрантов, их военная и идеологическая подготовка к выполнению военных, карательных и диверсионных операций в будущей войне с Россией. Особое

значение японцы придавали диверсионным отрядам «Осана Бутай», формировавшимся из эмигрантской молодежи.

Однако «Союз русских офицеров» натолкнулся на открытую оппозицию большинства представителей эмиграции, не считая, конечно, тех, кто, подобно атаману Семенову, был готов служить кому угодно и как угодно, лишь бы дать выход своей ненависти против Советской власти. Многие лидеры эмигрантских организаций запретили своим приверженцам вступать в «Союз». Японцы в ответ на это усилили нажим. Начались конфликты. Японцы заносили строптивых в «черные» списки. Русская эмиграция в Харбине оказалась между двух огней...

* * *

Семен поступил на юридический факультет Бинцзянского института, а затем еще и на теологический факультет института святого Владимира. За годы учебы он заметно повзрослел. Юношеская порывистость и восторженность сменилась вдумчивым отношением к тому, с чем сталкивала его жизнь. Вера его стала, если можно так выразиться, мудрее, интерес к знанию жизни — обстоятельнее и прочнее. Несмотря на большую нагрузку в институте, Семен занимался еще и психологией, историей, тибетской медициной. А по воскресным дням и православным праздникам участвовал в качестве иподьякона в архиерейской службе Димитрия в Софийском соборе.

До поры до времени японцы не трогали Семена. Но долго так продолжаться не могло, и в один далеко не прекрасный день Теплоухов получил приглашение Бюро российских эмигрантов на встречу Союза монархической молодежи. Семен решил было не идти, ибо знал, о чем пойдет речь. Однако, основательно подумав, понял, что раз уж японцы и их помощники из Бюро российских эмигрантов взялись за него, то не отстанут до тех пор, пока не получат четкого ответа — да или нет.

Пойти в диверсионные отряды «Осана Бутай» или стать агентом какой-нибудь секретной службы Семен не мог. Это противоречило всем его убеждениям — и гражданским и религиозным. Отказаться — значило не только остаться без средств к существованию, но и

испытать на себе мстительность японских секретных служб. А мстить японцы умели.

Между тем до встречи оставалось всего несколько дней, и надо было на что-то решаться. К кому же было обратиться Семену в трудную минуту, как не к Вознесенским?

— Решай, Сеня, как тебе совесть подсказывает,— после долгого раздумья ответил архиепископ Димитрий.— Вспомни Христа и следуй его путем...

А Вознесенский-младший, выслушав отца, добавил:

— Пойдем завтра на рыбалку. Там и потолкуем...

Рыбалка получилась неудачная. И поймать почти ничего не поймали, и разговора путного не вышло. Филарет не мог посоветовать ничего дельного. Он нервничал, то советовал Семену уйти в монастырь, то со вздохом говорил, что ничего не поделаешь, на все воля божья, как суждено, так тому и быть...

В назначенный день Семен пришел по адресу, указанному в пригласительном билете. В большом зале собралось не менее 600 его сверстников, в основном выпускники юридического факультета. Зал наполнялся настороженным приглушенным говором. Вскоре на небольшое возвышение прошли представители японской военной миссии и представлявший «Союз русских офицеров» генерал Кислицын.

Когда все уселись и зал настороженно затих, Кислицын предоставил слово сотрудникам японской военной миссии. Выступавших слушали плохо, поскольку все они твердили одно и то же — патриотическая русская молодежь обязана служить в маньчжурской армии и потому должна вступить в специальные отряды «Осана Бутай». Кислицын кивал, поддакивал, улыбался выступающим и даже «интеллигентно» аплодировал, несколько раз неслышно и мягко хлопая в ладоши. После того как японцы закончили свою часть ритуала, Кислицын поблагодарил их за яркие и убедительные выступления, за теплые слова в адрес эмигрантской молодежи и выразил уверенность, что потомки русского императорского офицерства не уронят чести своих отцов и дедов и покажут в отрядах «Осана Бутай» образцы доблести и героизма.

— А сейчас,— объявил Кислицын,— начинается торжественная запись в отряд «Осана Бутай». Подпоручик Семен Николаевич Теплоухов здесь?

— Здесь,— хмуро откликнулся Семен.

— Прошу вас пройти ко мне.

Семен встал и медленно вышел к Кислицыну.

— Подпоручик Теплоухов! Согласны ли вы вступить в один из отрядов «Осана Бутай»? — громко, на весь зал спросил Кислицын.

— Нет... Не согласен...

В зале поднялся шум. Японцы встревоженно переглянулись, Кислицын закашлялся.

— Позвольте, господин подпоручик,— поспешил на помощь генералу один из японцев,— ведь вы обязаны служить в маньчжурской армии и потому...

— Не обязан,— перебил Семен,— а имею право служить, и только как волонтер.

— Вы, господин подпоручик, окончили юридический факультет, а законы государства, в котором изволите жить, не знаете! Это очень плохо, господин Теплоухов, очень плохо!

— По этому вопросу, господа, в официальном издании — газете «Вестник» — было специальное разъяснение, я цитирую дословно: «Белый русский эмигрант является иностранцем». А иностранцы, согласно законодательству, не подлежат воинской повинности. Быть волонтером — это их право, а не обязанность...

Зал, слушавший перепалку затаив дыхание, загудел. Представители японской военной миссии обступили Семена. Вербовочная кампания не просто проваливалась — она грозила перейти в агитацию против службы молодежи в диверсионных отрядах. А этого японцы не могли допустить...

— Хорошо, господин Теплоухов,— одернув коллег и заставив их вновь занять свои места, обратился к Семену один из японцев, видимо старший среди них по службе.— Оставим юридические тонкости. Мы с вами, господин подпоручик, люди военные, и офицерская честь нам дороже, чем это мудрствование. Я думаю, что мы сумеем правильно понять друг друга. Будьте добры, покажите нам образец вашей подписи.

Семену дали лист бумаги и попросили расписаться, ткнув пальцем в середину листа. Однако он разгадал уловку и расписался, но в левом верхнем углу.

— Нет, господин Теплоухов,— поморщился все тот же японец,— вы неправильно поняли. Распишитесь, пожалуйста, крупнее и в середине листа, чтобы под-

пись была разборчива и чтобы ее можно было легко прочитать.

Семену дали новый лист бумаги. Он расписался гораздо крупнее, но опять так, что перед его подписью нельзя было бы ничего вписать. Японцы снова повскакали со своих мест и, обступив Семена, стали требовать, чтобы он поставил подпись именно посередине листа. Если до сих пор Семен прикидывался, будто не может взять в толк, чего от него требуют, то теперь он понял, что игра кончилась, и твердо заявил, что знание законов об ответственности подписи не позволяет ему ставить подпись так, как от него требуют.

Теперь даже руководитель японцев не смог сдержать своих коллег. Рассвирепевшие вербовщики стали избивать Теплоухова на глазах у всего зала...

* * *

В жизни Теплоуховых началась черная полоса. И японцы, и руководители Бюро российских эмигрантов не забыли Семену провала своей вербовочной кампании. Да и мудрено было забыть, потому что вслед за ним отказались записаться в «Осана Бутай» и другие выпускники юридического факультета, а за ними и все собравшиеся. Среди примерно шестисот человек японцы нашли только одного «патриота»! Столь же безрезультатно закончились и другие собрания эмигрантской молодежи.

День за днем, неделю за неделей ходил Семен в поисках работы. Но кто рискнет взять человека, занесенного в «черный» список? К тому времени Семен уже женился, но жил по-прежнему с родителями, так как перебивался случайными заработками. Михайлов, как мог, поддерживал Семена материально и морально, но и его дела тоже резко пошли под уклон, и вскоре обе парикмахерские перешли к компаньону. Однако ни Семен, ни его отчим не собирались сдаваться. Семен с утра бегал по городу в поисках какого-нибудь места или случайного заработка, а по вечерам занимался на различных курсах. За этот самый трудный период своей жизни он хорошо изучил японский, китайский, английский языки, переплетное дело, бухгалтерское дело. Он не гнушался никаким заработком — развозил на велосипеде по домам различные товары и продукты, расклеивал афиши...

Чтобы как-то поддержать Семена, архиепископ Димитрий нанял его личным секретарем. Конечно, оклад секретаря был более чем скромным, зато и обязанностей, которые Семен выполнял с удовольствием, тоже было немного. Но главное, именно благодаря этой должности Семен, сам того не зная, оказался в числе тех, кто так или иначе способствовал присоединению приходов русской православной церкви в Китае к Московской патриархии. Правда, в то время Теплоухов об этом даже не подозревал.

Здание, в котором жил архиепископ Димитрий, находилось во дворе Софийского собора и одной своей частью выходило на оживленную улицу, на которой неподалеку располагались несколько магазинов и японский публичный дом.

Ровно в одиннадцать часов десять минут вечера Семен гасил свет в комнате, выходившей на эту улицу, открывал форточку и садился около окна. Вскоре с улицы в форточку просовывалась рука с бумажным свертком. Семен брал сверток, уносил его в соседнюю комнату, выходившую окнами во двор собора, и, плотно закрыв за собой дверь, включал настольную лампу. Там, сидя в темноте, его уже ожидал архиепископ Димитрий. Семен разворачивал сверток, извлекал из него газеты «Правда», «Известия», издания, в которых освещалась жизнь Советского Союза и русской православной церкви. Литература тщательно просматривалась, особо интересные и важные места выписывались, затем все заворачивалось опять в такой же сверток и на следующий день тем же путем возвращалось таинственному почтальону.

В Харбине в ту пору не было никаких достоверных сведений ни о жизни в Советском Союзе, ни о русской православной церкви. Местная пресса, находившаяся под неусыпным контролем японцев, если что-то и писала на эти темы, то так, как это считали нужным японцы. Например, во время событий на Халхин-Голе газеты вовсю расписывали блестящие победы японцев и приводили данные об огромном количестве сбитых и захваченных советских самолетов. В Харбине даже была устроена выставка захваченной советской техники. Правда, выглядела выставка довольно убого, не говоря уже о том, что ни одного советского самолета на ней не было. Среди русских эмигрантов начали от-

кровенно посмеиваться над описаниями японских побед, и в местной газете появилось специальное разъяснение о том, что все сбитые советские самолеты падают в озеро и потому-то, дескать, их нет на выставке.

В условиях такой изоляции газеты и журналы из Советского Союза были чем-то вроде чуда, и Семен жадно читал их. Так продолжалось больше года, пока Семен исполнял обязанности секретаря при архиепископе Димитрии. Наверное, Семен служил бы у Димитрия и дольше, но материальное положение Теплоуховых было уже катастрофическим. Отчим практически разорился, у Семена уже были дети, и скромного секретарского оклада хватало лишь на полуголодное существование.

Выручил Теплоуховых случай, как и всякий случай, совершенно неожиданный. Как-то тесть Семена встретил на улице японца, лицо которого показалось ему знакомым. Выяснилось, что это сын его старинного приятеля, православного японца, с которым они когда-то, еще на Дальнем Востоке, дружили семьями. Конечно, японец не узнал бывшего приятеля своего отца, но, когда тот назвался, сразу же вспомнил его и очень обрадовался встрече. Иван Васильевич пригласил Когету (так звали молодого японца) к себе домой и за обедом, не вдаваясь в причины, пожаловался, что его зять никак не может устроиться на работу — нужны, дескать, рекомендации от влиятельных людей. Японец с минуту помолчал, видимо размышляя, и сказал, что он вполне доверяет характеристике давнего друга своего отца и мог бы дать его зятю рекомендацию, но для этого им надо познакомиться, поскольку он должен написать, что лично знаком с рекомендуемым. Иван Васильевич обрадовался, но, понимая, сколь весомой должна быть рекомендация, чтобы Семена приняли вопреки «черному» списку, поинтересовался, где работает Когета. И тут выяснилось, что новый знакомый не кто иной, как секретарь японской военно-морской миссии. Это была удача, и Семен, когда тесть рассказал ему о разговоре с Когетой, решил рискнуть. В ближайшее же воскресенье Иван Васильевич пригласил обоих к себе, и Когета, на которого Семен произвел прекрасное впечатление свободным владением языками и разносторонними познаниями, тут же написал рекомендацию. На следующий день Семен отпра-

вился в коммерческое информационное бюро, где, как ему сообщили, было место с приличным окладом.

Конечно, во всем этом был немалый риск. Если бы рекомендация Когеты не заворожила руководителя бюро, он обязательно запросил бы в жандармерии сведения о Семене. Жандармерия сообщила бы в бюро о том, что Семен занесен в «черный» список, а в японскую военную миссию — о том, что Когета дал такому человеку свою рекомендацию. Военная миссия снеслась бы с военно-морской, у Когеты произошли бы неприятности, и тесть Семена, как человек, обманувший Когету, тоже попал бы в тот же самый список.

К счастью, и жандармерия, и военно-морская миссия жили обособленно. Семена приняли на работу, хотя, как выяснилось, в жандармерию об этом сообщили. Жандармерия на всякий случай поставила в известность военную миссию. Однако и те и другие с военно-морской миссией сноситься не стали, рассудив, что раз Семена рекомендует сам секретарь военно-морской миссии, то, значит, Семен работает на нее. Более того, его даже вычеркнули из «черного» списка.

Семен быстро стал умелым сотрудником бюро. А вскоре ему предложили должность начальника русского отдела государственного общества страхования жизни. Материальное положение Теплоуховых стало выправляться.

Однако, как это часто бывает в жизни, стоило уйти одним заботам, как на смену им пришли другие. Все это трудное время Семен, как и прежде, участвовал в качестве иподьякона в архиерейских службах архиепископа Димитрия. Полоса жизненных испытаний только укрепила в нем веру и намерение стать пастырем. Правда, были разочарования, иногда возникали и сомнения. Одним из поводов для таких сомнений был случай, когда Семен стал невольным свидетелем ссоры двух почтенных протоиереев.

После одной из служб Семен, как обычно, убирал дорогие архиерейские облачения, одни укладывая, другие развешивая по пялам. Ризница, где он остался один, находилась рядом с алтарем. Семен уже заканчивал свою работу и собирался уходить, когда услышал в алтаре возбужденные голоса. Семен удивился. Он считал, что, кроме него, в соборе уже никого нет, так как даже сторож ушел домой, попросив запереть

собор и занести ему ключи. Кроме того, Семен знал, с какой трепетной почтительностью относился Димитрий к алтарю, запрещая там любые разговоры. Алтарь, внушал он своему духовенству, святая святых, и там должно звучать лишь слово божие!

Дверь в алтарь была приоткрыта, и, подойдя к ней, Семен увидел двух протоиереев — отца Сергия Русанова и отца Аристарха Пономарева. Однако вид у обоих на этот раз был далеко не благостный. Лысый, с огромной всклокоченной бородой Аристарх яростно наскакивал на Сергия, который, тряся в возбуждении редкой бородкой и растрепанной густой шевелюрой, злобно отбивался.

— Почему, почему ты, воровская твоя морда,— орал Аристарх,— не записал за молебны? Я видел, видел, сколько ты положил в карман...

— За молебны тебе? — вопил в ответ Сергий.— Кукиш тебе с маслом за молебны! Ты вчера за панихиду записал? А? Записал?

Слово за слово, и Аристарх вцепился Сергию в шевелюру, а тот Аристарху в бороду, вопя благим матом на весь собор...

Эта безобразная сцена надолго выбила Семена из привычного состояния. Как же так, не мог он понять, мало того, что такие почтенные служители господа подрались между собой и непотребно друг друга поносили, так ведь они и алтарь осквернили! И обманывали не только друг друга, но и верующих и архиепископа! Как же они могли этакое допустить, знают же ведь, что бог их накажет за все.

Долго маялся Семен, пока не поделился сомнениями с Димитрием.

— Эх, Сеня, Сеня,— грустно улыбнулся архиепископ,— все двенадцать апостолов вместе с Христом ели и пили, все видели его чудеса — как он ходил по водам, как исцелял прокаженных, как исцелил смердящего Лазаря, и то один из них продал Христа за тридцать сребреников. А в наше время, когда прошло почти две тысячи лет с рождества Христова, многие священники служат не Иисусу, а хорошему хлеба кусу. Но не с них же, Сеня, брать нам пример. Среди духовенства разные люди попадаются — и хорошие, и плохие, и убежденно верующие и не верящие ни во что... Но ведь встретив в миру плохого человека, ты не ска-

жешь же, что все плохи, и не будешь именно с него брать пример...

Беседа с Димитрием успокоила Семена, напомнив ему давнюю историю с отцом Иннокентием и те выводы, к которым он когда-то пришел. Случались с Семеном и другие подобные огорчения, но сомнения, будоражившие время от времени душу и разум, касались лишь внешней, если можно так выразиться, ее стороны, не затрагивая ни ее основы, ни желания стать пастырем.

Да и архиепископ Димитрий уже звал своего духовного воспитанника к пастырскому служению. И вскоре, не без труда выхлопотав разрешение,— японцы в ожидании близкой войны с Советским Союзом противились уходу молодых эмигрантов в лоно церкви, рассчитывая на них как на потенциальных солдат,— архиепископ Димитрий посвятил Семена Теплоухова в диаконы...

* * *

Служил Семен истово и красиво. Особенно отличали его прихожане за сильный, проникновенный голос.

Архиепископ Димитрий и его сын по-прежнему рады были каждому приходу своего духовного воспитанника. Именно благодаря Димитрию Теплоухов постоянно был в курсе всех новостей религиозной и внутрицерковной жизни Харбина. Во время одной из таких бесед архиепископ сообщил Семену, что русская православная эмигрантская церковь в Китае признала власть московского патриарха. Для Семена это было полной неожиданностью, несмотря на то что разговоры на эту тему часто возникали и среди рядового духовенства и в доме Димитрия.

— А ведь ты, Сеня, тоже принимал в этом участие,— улыбнулся архиепископ.— Помнишь, свертки с газетами и журналами из России? Этим же путем мы вели переговоры с Московской патриархией.

— Но кто же был почтальоном? — спросил Семен.

Архиепископ улыбнулся и перевел разговор на другую тему.

Признание Московского патриарха, с одной стороны, внесло сумятицу и разброд в ряды тех русских эмигрантов, которые, уступив нажиму японцев, вступили в «Союз русских офицеров» и в отряды «Осана Бутай», а с другой — еще более поляризовало различ-

ные политические силы эмиграции. Произошло это в 1945 году, за два с половиной месяца до начала войны между Советским Союзом и Японией. А когда начались военные действия, все диверсионные отряды «Осана Бутай», сформированные в Харбине, кроме отряда есаула Пешкова, арестовали своих офицеров и перешли на сторону Советской Армии.

Надо сказать, что с самого начала Великой Отечественной войны эмиграция жадно ловила любые слухи о положении на советско-германском фронте. Осенью 1941 года кое-кто радостно потирал руки, предвкушая скорый победоносный рейд по тылам разгромленной Гитлером Красной Армии, но большинство тяжело переживало стремительное продвижение фашистских войск к Москве. Одни искренне любили свою родину, давно поняли совершенную когда-то ошибку и надеялись при случае вернуться назад. Другие любили родину, но так и не смогли примириться с происшедшими в ней переменами. К последним относился и бывший полковник генерального штаба царской армии, руководитель Союза монархической молодежи, начальник русского информационного отдела японской военной миссии в Харбине Дубинин, который и был тем самым таинственным «почтальоном», осуществлявшим связь между харбинским духовенством и Московской патриархией.

Советско-японская война сколь стремительно началась, столь же стремительно и закончилась. В среде русской эмиграции в Харбине царило лихорадочное возбуждение. Везде решался один и тот же вопрос, возвращаться на родину или оставаться в Китае. Не была исключением и семья Теплоуховых.

Советские войска нуждались в опытных переводчиках, знающих японский и китайский языки. Их искали везде, особенно среди патриотически настроенной части русской эмиграции. Семен Николаевич знал об этом и, когда к нему обратились с просьбой оказать помощь, не был удивлен. Более того, она прямо совпадала с его решением вернуться на родину.

Вечером Семен зашел к своему духовному наставнику. Архиепископ одобрил его решение и благословил:

— С богом, Сеня, с богом! — Он помолчал и грустно добавил: — Может, и не доведется уже свидеться...

Димитрий оказался прав. Это была их последняя встреча. Вскоре Семен Николаевич вместе с семьей выехал во Владивосток.

* * *

Конечно, Семен Николаевич мог бы сразу пойти служить в один из местных храмов. Но, верный заветам своего духовного наставника, он хотел сначала понять, чем и как живут люди на его родине, которую он, по существу, совсем не знал. Не так-то просто после двадцати с лишним лет жизни на чужбине все понять, все осмыслить, ко всему привыкнуть. И что сможет ответить он прихожанам, когда те понесут к нему свои радости и горести, когда попросят наставить их на путь истинный, если не будет он знать, отчего эти радости и горести, если не будет знать их жизни во всех ее подробностях.

Работая переводчиком, Семен Николаевич исколесил весь Дальний Восток. Со свойственной ему наблюдательностью и вдумчивостью изучал он новую жизнь, осмысливал ее уклад, порядки, особенности и обычаи, везде посещал местные православные храмы, присматривался к священникам, к их взаимоотношениям с прихожанами.

Все было бы хорошо, но приходилось возить с собой семью — мать, жену и двоих маленьких детей. Домашние Семена Николаевича быстро устали от такой жизни, да и он порядком вымотался в беспрестанных семейных хлопотах. И когда ему предложили должность научного сотрудника на одной из баз Академии наук во Владивостоке, он с радостью согласился, тем более что заниматься он должен был женьшенем. А Семен Николаевич, как мы уже писали, увлекался тибетской медициной, прочел немало специальной литературы.

Надо сказать, что Теплоухов ни от кого и никогда не скрывал своих религиозных убеждений — ни тогда, когда работал переводчиком, ни теперь, на научно-исследовательской базе Академии наук. С ним нередко спорили, и он не уклонялся от споров, твердо защищая свои взгляды.

А поскольку и в философии и в истории он разбирался, как правило, гораздо лучше своих сослуживцев, то если и не всегда выходил победителем, во вся-

ком случае, не оказывался и побежденным. Впрочем, спорили с ним только поначалу. Семен Николаевич на такие разговоры, если велись они уважительно, никогда не обижался. Да и на что было обижаться? Большинство спорили просто так, задора ради, не зная по-настоящему ни истории христианства, ни сущности его учения, ни религиозной, ни атеистической литературы.

Работал Семен Николаевич с увлечением, много читал, разыскивая старую церковную и философскую литературу, строго, вместе со всей семьей соблюдал православный календарь, неукоснительно посещал церковную службу.

Так прошел год. Летом база академии пустела — все разъезжались «в поле», то есть в экспедиции. Теплоухову достался маршрут по горному хребту Хинган. Работы уже близились к завершению, когда Семен Николаевич заболел. Тайга есть тайга — ни больниц, ни дорог. Пришлось срочно свернуть работы и вывозить больного в ближайший населенный пункт, а оттуда — во Владивосток. Путь был неближний, да и транспорт не тот, что ныне,— добирались долго и привезли больного в тяжелом состоянии. Но и во Владивостоке не сразу удалось установить диагноз. А когда все же установили, то он был жесток — заражение крови в очень тяжелой форме. По тем временам это было равносильно смертному приговору. Семена Николаевича перевели в специальную палату с пальмами и фикусами — в палату для умирающих.

Теплоухов понимал, что он обречен. Но ни жалости к себе, ни горечи расставания с жизнью он не чувствовал — для этого он был слишком слаб и измотан болезнью. Около него поочередно дежурили мать и жена. Семен Николаевич сквозь расслабленную дремоту слышал их плач, молитвы, сетования, слышал слова о том, что это бог его наказал, ибо, будучи посвящен в диаконы, он до сих пор не вернулся в церковь. Семен Николаевич и сам укорял себя за это. И в один из дней, когда сознание его прояснилось, а рядом рыдала укоряющая мать, он дал обет, что если ему удастся выздороветь, то всю жизнь он посвятит одному — служению богу.

— Молись, сынок, молись об исцелении,— бросилась к нему мать.

И Семен Николаевич, преодолевая слабость и апатию, начал молиться — изо дня в день, все более истово, и даже прикрепил к спинке своей кровати икону...

Между тем сослуживцы Теплоухова и его родные метались по городу в поисках пенициллина, который был тогда чрезвычайной редкостью. И надо же так случиться, что в тот самый день, когда Семен Николаевич дал свой обет, пенициллин достали! Больной медленно, но неуклонно пошел на поправку.

Пенициллин в те годы нередко называли чудодейственным средством. Оно и понятно — его появление в арсенале врачей заметно сократило список болезней и осложнений, считавшихся неизлечимыми. Но и сам Теплоухов, и его близкие восприняли выздоровление Семена Николаевича как самое настоящее чудо.

Когда Семен Николаевич выписался из больницы и был еще на больничном листе, он узнал, что во Владивосток приехал хабаровский архиепископ Гавриил. Теплоухов отправился к нему на прием. Во время разговора выяснилось, что Гавриил тоже жил раньше в Китае, только в Южном, и что у них много общих знакомых. И когда Семен Николаевич рассказал архиепископу свою историю, тот рукоположил его в священники и направил служить в единственную во Владивостоке церковь — на Второй речке.

Однако служил там отец Симеон недолго. Архиепископ вызвал его к себе в Хабаровск, где находилось управление епархией, и назначил ключарем — вторым священником кафедрального собора.

Приняв рукоположение, Теплоухов, как и обещал в минуту смертельной опасности, всю свою жизнь, все помыслы направил на служение богу. Все свое знание жизни использовал он в страстных проповедях. Сам убежденно и глубоко верующий, он так накалял аудиторию, что, обливаясь слезами, верующие бросались к нему за благословением и с трепетом целовали протянутый им крест. Он и сам словно забывался в своих проповедях, каким-то обостренным подсознательным чувством находя слова, точные паузы, тембр и громкость голоса.

Архиепископ Гавриил по достоинству оценил отца Симеона. И когда вместо Хабаровской ему дали Вологодскую епархию, он взял с собой Теплоухова в Вологду.

И вновь, как тридцать лет назад, потянулась мимо окон поезда Россия, только теперь уже с запада на восток. И вновь, как тридцать лет назад, жадно смотрел он и не мог насмотреться на свою родину. Было что-то очень волнующее в этом возвращении к родным местам, словно в возвращении к самому себе, к своему детству. Отец Симеон хотел выйти в Свердловске, пересесть на другой поезд и добраться до Кушвы, чтобы побродить по Теплоуховской улице, зайти в дом, где он родился, где выросли его мать, его дед...

Но мечтам этим не довелось сбыться. В Свердловске он получил телеграмму от Гавриила, и пришлось лететь в Москву — отец Симеон вез ценные вещи архиепископа, которые тому срочно понадобились.

В Вологде он служил около двух лет, и служил столь ревностно, что послушать его приезжали не только из ближних сел, но даже из других городов. Среди верующих распространилась молва о нем как о священнике редкостного благочестия, праведной жизни и особой избранности.

Не довольствуясь самообразованием, он поступил на заочное отделение Ленинградской духовной академии.

Архиепископ Гавриил высоко ценил способности и ревностную службу отца Симеона, часто ставил его в пример, отмечал благодарностями и наградами, но стремления к знаниям не поощрял.

— Не мудрствуй, отец Симеон, не книжничай,— поучал он,— хватит и того, что уже знаешь. Помни, что в большой мудрости сокрыты великие печали. Будешь все время учиться — веру потеряешь, безбожником станешь...

Как ни благоволил к отцу Симеону архиепископ, как ни почитали его прихожане, а пришлось Теплоуховым уехать из Вологды — дети постоянно болели ангиной, и врачи сказали, что на севере им жить нельзя...

Рязанский архиепископ Николай долго читал восторженную характеристику, написанную архиепископом Гавриилом. И решив, что отец Симеон сумел чем-то очень уж умаслить Гавриила либо тот просто несдержан в выражениях, отправил Теплоухова в одно из самых захудалых мест — в Туму. Приехав на новое место, отец Симеон, прежде никогда не падавший духом, растерялся. Служить ему предстояло с местным нас-

тоятелем, отцом Петром, который, как выяснилось, ни за завтрак, ни за обед, ни за ужин не принимался без обильных возлияний. И конечно же по случаю приезда отца Симеона настоятель затеял изрядную трапезу, ревниво следя, чтобы новый его коллега не увиливал от пития. Отказаться было неудобно, да и откуда мог знать отец Симеон, что такое радушие и хлебосольство не от искренней радости и не от широты натуры.

Наутро отец Симеон проснулся с тяжелой головой. Настоятель уже был тут как тут, и даже «зелье для похмелья» было наготове. Теплоухов стал отказываться, отец Петр обижаться. Начинать совместную службу с обид не хотелось, и пришлось «причаститься», как выражался настоятель. Выпив «по маленькой», отец Петр настоял, чтобы выпили еще по одной, а там, захмелев, наливал еще и еще. Теплоухов понял, что если решительно не воспротивиться, то весь день пройдет в хмельном угаре. Он встал из-за стола, сказал, что на минуту выйдет, и до вечера не возвращался...

День проходил за днем в томительном однообразии. Отец Петр постоянно предлагал выпить, обижался, наталкиваясь на решительный отказ, служил пьяным, путая и перевирая службы... Через две недели отец Симеон не выдержал и поехал к архиепископу.

— То-то и оно,— усмехнулся тот.— Это тебе, отец Симеон, не в кафедральном соборе служить. Тут жизнь надо знать, грешника надо уметь на путь истинный наставить, слово божие ему внушить, а праведник-то и без тебя найдет путь к господу...

Ничего не ответил отец Симеон, видя, что спорить с владыкой бесполезно.

— Ну что ж,— подытожил разговор архиепископ,— первого испытания ты не выдержал. Попробуем тебя еще раз. Поедешь в Зимаровский храм, на этот раз настоятелем. Сумеешь проявить себя — посмотрим, как с тобой дальше быть, а нет — пеняй на себя.

Зимарово оказалось большим селом, когда-то одним из имений князей Волконских. В центре села возвышался пятиглавый соборный храм. Но когда отец Симеон увидел его, у него даже мелькнула мысль, что архиепископ либо сам не знал истинного положения дел, либо ввел его в заблуждение. Окна в храме были выбиты, с обшарпанных стен давно осыпалась штукатурка, в зияющие провалы рам стаями влетали и выле-

тали голуби, на ржавых дверях висел такой же ржавый замок. Вид храма вселял уверенность, что он давно заброшен. Однако, поговорив с жителями, Теплоухов выяснил, что в храме время от времени бывает служба и что священник живет тут же, неподалеку.

Внутренний вид храма вызвал у отца Симеона уже не растерянность, а возмущение.

— Да ведь чего стараться-то зря,— оправдывался местный священник.— Не идут ведь прихожане в храм-то... Что ж в таком разе силы зря тратить...

Храм находился, так сказать, на «хозрасчете», денег в кассе не было. А без ремонта, думал отец Симеон, верующие сюда не пойдут. Да и непотребно это — служить в таком запущенном храме.

Теплоухов вновь поехал к архиепископу. Денег архиепископ дал, конечно взаимообразно, но поинтересовался, из каких доходов отец настоятель собирается возвращать долг.

— Из доходов Зимаровского храма,— ответил отец Симеон и удалился.

Он ремонтировал храм вместе с нанятыми рабочими, не чураясь никакого труда.

— Ишь, новый батюшка-то в пролетарии записался,— подсмеивались над ним местные жители.

— Видать, жалованья не хватает, в шабашники пошел,— ухмылялись другие.

— Непотребно батюшке-то, ровно мужику, по лесам лазить да кистью махать,— вздыхали верующие старушки.

— Ничего,— подшучивала молодежь,— пусть подновит, все равно скоро закрывать за ненадобностью, так мы в этой церкви Дом культуры устроим.

Вскоре обновленный храм трудно было узнать. И, привлеченные его красотой, о которой они уже забыли, верующие потянулись в храм. А там, захваченные службой, красивым голосом и взволнованными проповедями отца Симеона, прониклись таким глубоким почтением и к своему новому храму, и к новому священнику, что почитали неудобным пропустить хотя бы одну службу. Вскоре молва о воскрешенном храме, о его знаменитой иконе, пребывавшей до того в забвении вместе с храмом, и о замечательной, какую и в самой-то Рязани не всегда увидишь, службе разнеслась по окрестным селам и деревням...

После того как отец Симеон привез в епархию деньги, взятые семь месяцев назад в долг, архиепископ дважды наградил его и оставил служить в Рязани, в церкви Скорбящей богоматери.

Один за другим шли годы ревностной и беспорочной службы. И снова плакали на его проповедях верующие, везли к нему «кликуш» и слезно молили об исцелении, по-прежнему углубленно изучал отец Симеон религиозную, философскую, историческую литературу и священное писание. Проповедуя и призывая верующих к соблюдению божьих заповедей и установлений, он и сам так неотступно следовал им, что за время великого поста терял в весе до пятнадцати килограммов.

За многолетнюю ревностную службу в церкви Скорбящей богоматери отец Симеон был награжден золотым крестом. И вологодский архиепископ Гавриил, и рязанский — Николай характеризовали его патриарху Алексию как талантливого и опытного проповедника. Во время приездов отца Симеона в Ленинград его всегда приглашали участвовать в службе митрополита Григория, а будучи в Москве, неоднократно читал он канон на патриаршьей службе в Богоявленском соборе.

Шли годы, но, в который уже раз перечитывая священное писание, все больше задумывался теперь над отдельными его местами отец Симеон. Чем глубже он изучал богословие и историю христианства, тем очевиднее для него становилось, что как то, так и другое покоится не на прочном фундаменте доказательств и неопровержимых свидетельств, а на одном-единственном допущении — что бог действительно существует. Поначалу это открытие нисколько не поколебало его веры. Он лишь усмехнулся, вспомнив предостережение архиепископа Гавриила — так вот, значит, что имел в виду владыка, когда не советовал учиться.

Раньше он слушал духовных пастырей, принимал их доводы, не очень-то стремясь постичь церковные первоисточники. А сейчас, когда он обратился к книгам, обнаружилось, что многое из того, что представлялось ясным и понятным, вызывало недоуменные вопросы, ставило порой в тупик.

Интереса ради — отец Симеон часто устраивал себе подобные тренировки — он представил себя на мес-

те неверующего человека, обладающего его знаниями, и стал с этой позиции разбирать богословские труды, священное писание и историю христианства. Результат был поистине потрясающий — все рушилось! Впервые в жизни Теплоухов-верующий не сумел ни доказать что-либо Теплоухову-атеисту, ни опровергнуть его. Однако ему ли было не знать о том, что бог постигается не разумом, но чувством, молитвой и благим делом. И тем не менее вновь и вновь перечитывая священное писание, которое стало теперь для него единственным авторитетом, он старался представить себе, как все это должно было выглядеть в жизни, и многие библейские сказания повергли его в смущение. Отец Симеон уже не мог не видеть, сколь многое безнравственно в них.

Отец Симеон всегда был честным человеком и всегда говорил людям только то, в чем сам был убежден. Но как ему быть теперь, что говорить верующим, если он сам не понимает, чем можно объяснить и оправдать многое из того, что описывается в Библии. После тягостных раздумий отец Симеон перевелся в Тулу.

Можно сменить епархию, можно убежать в другой город, но разве можно убежать от самого себя?

Здесь, среди новых людей, сомнения охватили его с еще большей силой. Бог, такой, каким отец Симеон представлял его себе с малых лет, такой, о котором говорили ему отец и мать, отец Иннокентий, архиепископ Димитрий, каким представляло его богословие, не мог поступать так, как это описывается в Библии. Значит, либо в Библии написана неправда, либо... либо бога просто нет! Но ведь Библия-то, по существу, и есть единственное свидетельство о бытии божьем! И если уж и это свидетельство не содержит истины, тогда где же она?

Больше отец Симеон проповедей не читал. Он еще по привычке отправлял службу, крестил, венчал и отпевал, но делал все это автоматически...

Как-то, заехав по делам в Рязань, он попробовал посоветоваться с одним из своих коллег.

— О господи,— рассмеялся тот, выслушав горькую исповедь,— да что ты дурью-то маешься? Библия врет, бог не мог убивать младенцев... Ну, врет Библия, ну, убивал бог младенцев, ну, вообще бога нет, а есть одна материя... Да кто же это может точно знать, что

есть, а чего нет? Веруешь — ну и слава богу! Сомневаешься — ну и бог с тобой, сомневайся. Да хоть вообще не верь, служба-то тут при чем?

В Тулу отец Симеон вернулся еще более хмурый и подавленный. Его вера, стержень всей его жизни, надломилась, словно источенная ржавчиной. Что дальше делать, как и для чего жить — он не знал, и долгими бессонными ночами не раз и не два мелькала мысль, что больше ему делать в жизни нечего...

Конечно, в очерке не опишешь весь тот мучительный процесс, который подточил веру отца Симеона. Все было сложно, трудно. Но волевая натура одолела. Отец Симеон написал заявление с просьбой отпустить его за штат и сохранить за ним право перехода в любую епархию. Отпускать его не хотели, но он был непреклонен, ссылаясь на пошатнувшееся здоровье. Здоровье у него, и правда, было не ахти какое.

Он опять поехал в Рязань — но на этот раз в облисполком — с просьбой помочь устроиться куда-нибудь на работу. Но разговор там не получился. Теплоухов понял, что ему не верят. Он встал и, не прощаясь, ушел.

А в городе была весна, и шалые ручьи неслись по тротуарам и мостовым. Семен Николаевич долгим взглядом окинул улицы, дома, веселых ребятишек. Делать ему было нечего, девать себя некуда.

Бездумно пробегая глазами номер «Приокской правды» — оставаться наедине со своими мыслями он уже не хотел,— Теплоухов наткнулся на объявление, что УМР-2 требуются ученики слесаря-сантехника. И он решил еще раз испытать судьбу.

В отделе кадров его встретила Елизавета Ивановна Трухачева, невысокая, внимательная женщина. Подробно расспросила о жизни, посочувствовала и, как узнал он позже, не без трудных разговоров с начальством направила в одну из бригад.

Первые дни Семен Николаевич и работал и жил словно в полусне, словно лишь по какой-то давней еще инерции. Наверное, есть в человеческом организме что-то подобное электрическим пробкам в наших квартирах. И когда психика человека подвергается встряске, превышающей ее возможности, это приспособление срабатывает, отключая нашу психику от воздействия всяких раздражителей.

У Теплоухова это устройство сработало. И лишь спустя какое-то время начал он возвращаться к жизни. Но зато возвращался быстро, смело входя в нее и принимая ее такой, какая она есть. Главная задача, которую он поставил теперь перед собой, — овладеть профессией.

Через две недели ему присвоили третий разряд.

Между тем о его уходе стало известно духовенству. Вскоре новость дошла до архиепископа. И как-то вечером к Семену Николаевичу пожаловал гость — посланец владыки протоиерей отец Сергий. Разговор был долгий. Отец Сергий уговаривал бывшего отца Симеона вернуться в лоно церкви.

— Ну, потерял ты веру, это ничего, вера опять вернется. Но где ты сможешь так вдохновенно работать и столько зарабатывать? Да вот возьми, к примеру, артистов на сцене! Разве, играя роль, они верят, что они и есть те люди, которых изображают? Нет конечно! Вот ты и служи пока, как артист, а потом, глядишь, и вера вернется...

Нет, не мог Теплоухов убеждать людей в том, во что сам уже не верил. Теперь единственным спасением, единственной возможностью уйти от душевного смятения и трудных размышлений стала для него работа. Профессия слесаря-сантехника оказалась конечно же несколько иной, чем он представлял себе, и за три месяца Теплоухов похудел на двадцать с лишним килограммов. Зато укрепил мускулатуру, приобрел мастерство, да и душевное смятение мало-помалу улеглось, мысли пришли в порядок, и незаметно, исподволь крепло в нем новое отношение к жизни.

Меньше чем за полгода он получил пятый разряд, потом окончил в Москве специальные курсы по монтажу газовой аппаратуры и стал бригадиром. Прихожане церкви Скорбящей богоматери по-прежнему помнили его, останавливали при встрече, называя по привычке батюшкой.

— Да я уж давно не батюшка — и в церкви не служу, и в бога не верю,— говорил он прихожанам.

— Да слышали мы, батюшка, слышали,— отвечали ему,— что ж это вы службу бросили? Ведь так-то служили хорошо, нынче уж того нету...

— Пока верил, служил, ну а кончилась вера — и служба кончилась...

— Так-то оно так, батюшка, да больно жалко — привыкли мы к вам, почитай, лет десять и крестили, и венчали, и отпевали, и причащали...

Как-то перед одним из православных праздников ему предложили выступить с атеистической лекцией. Семен Николаевич задумался. Он вспомнил, как тяжело пережил собственное разочарование в вере, и подумал о том, что может стать виновником такой же трагедии. «Но, с другой стороны,— размышлял он,— ведь пережил же и не раскаиваюсь и жалею только об одном, что прозрение не наступило раньше, когда было и сил больше, и здоровья, и энергии».

Он выступил с лекцией о происхождении христианских праздников. Слушали его внимательно, и, когда закончил выступление, посыпались вопросы. Он отвечал со знанием дела, приводил интересные подробности, и его долго не отпускали. Потом его попросили выступить еще и еще... И вскоре он стал одним из самых интересных лекторов Рязани по атеистической тематике. Его стали приглашать в другие города, и он, как правило, не отказывался. Ему начали писать и верующие, и атеисты, одни делясь сомнениями, другие спрашивая совета. Он снова взялся за историческую, религиозную и атеистическую литературу. Работал он уже начальником АХО картонно-рубероидного завода.

Помню, в одной из наших бесед я спросил, не смущает ли его, что ныне он в своих лекциях и беседах, в переписке с верующими отрицает те самые взгляды, которые так долго и убежденно отстаивал.

Семен Николаевич улыбнулся, и я понял, что ему часто задают этот вопрос.

— Видите ли, моя служба не была самоцелью. Я был убежден в существовании бога, в необходимости служения ему и исполнении всех предписаний православной веры. Свою деятельность священника я воспринимал не только как личное служение богу, но и как наставление верующих на путь истинной веры, на путь праведной жизни, то есть помогал им по мере сил понять жизнь и обрести в ней свое счастье. И теперь я стремлюсь к тому же — объяснить людям то, что понял на собственном, далеко не легком опыте, тем самым помогая им понять самих себя, понять реальные и разумные основы человеческой жизни и найти в ней свое место.

О ВЕРНОСТИ САМИМ СЕБЕ

Конечно, история Семена Николаевича Теплоухова во многом уникальна. Я имею в виду не сам факт его отречения. Мне не раз и не два доводилось встречаться с людьми, сложившими с себя сан и порвавшими с религией. С некоторыми из этих людей я знаком не один десяток лет, с другими по-настоящему дружен и могу уверенно сказать, что не корысти ради решились они на столь серьезный шаг.

А подобные предположения мне часто приходилось слышать от тех, кто лично не знаком с этими людьми. Конечно, нельзя сказать, что отречений от веры по корыстным соображениям не бывает, но давайте задумаемся над вопросом: может ли убежденно верующий отрицать веру ради каких-либо благ или выгод?

Помню, как-то позвонил мне один человек и попросил о встрече. Мы встретились. Собеседник, молодой, симпатичный, хорошо и со вкусом одетый, рассказал мне довольно немудреную свою историю. Родился он в семье сельского священника, с детства получил религиозное воспитание и, по его собственным словам, жил всю предыдущую жизнь в искренней вере. В армию его после школы не взяли по состоянию здоровья, и он, желая посвятить свою жизнь служению богу, поступил в духовную семинарию. Но на второй или на третий год учебы разочаровался и в семинарии и в самой вере. Вот потому и пришел за советом, как ему дальше быть. Возвращаться к отцу он не хотел, а больше деться ему некуда.

Разумеется, положение молодого человека было сложное, да и мое не легче. Однако, как быстро выяснилось, он был человеком деловым, и едва мы начали беседовать о том, что его влечет в жизни, чем интересуется, какой труд ему по душе, как он задал мне прямой и весьма неожиданный вопрос:

— А сколько мне заплатят, если я уйду из семинарии и выступлю в журнале с отречением?

Первым моим желанием было встать и уйти. Но я тут же подумал, что, может, мой собеседник неудачно выразился или я его не так понял. Я объяснил, что за статьи, опубликованные в журнале, редакция выплачивает авторам гонорар, и сообщил даже примерную сумму, которую он может получить, если редакция сочтет возможным опубликовать его статью. На лице молодого человека отразилось разочарование.

— Ну, а за то, что я отрекусь, сколько заплатят?

— За это не платят,— ответил я,— это дело вашей совести — веровать или отречься.

— Так зачем же я тогда буду из семинарии уходить и отрекаться? — перебил он.

— А чтобы ни верующих, ни себя не обманывать! — ответил я и ушел.

Думаю, что у любого честного человека, как атеиста, так и верующего, эти типы вызывают лишь чувство презрения. Ибо, как справедливо гласит народная мудрость, единожды солгав, кто тебе поверит?

Но наш разговор о тех, кто искренне и неотступно ищет истину, о тех, кто всегда честен перед собой и другими. Именно искренность, честность и убежденность, единство слова и дела — вот, наверное, те главные качества, которые ценим мы в человеке, независимо от того, верующий он или атеист.

Жизнь Семена Николаевича Теплоухова еще раз убеждает, что именно эти качества его характера определили его судьбу. Он не пошел на сделку с совестью ни тогда, когда оказался под угрозой попасть в «черные» списки, ни тогда, когда, прожив бо́льшую часть жизни, решил начать ее сначала, что называется с нуля. Пока искренне и убежденно верил в бога, служил ему столь же искренне и убежденно. Когда понял, что ошибался, признал ошибку, пошел на физические и материальные трудности, но не стал обманывать ни себя, ни других. И вот в этой искренности, в умении остаться честным в любой, самой сложной ситуации, в умении не только отстоять свои убеждения, но и признать ошибку, коли пришел к выводу, что это действительно ошибка, состоит, на наш взгляд, свойство характера человека, в наибольшей степени определяющее его судьбу,— мужество.

РЕАЛЬНОСТИ «ГРЕШНОГО» МИРА

Однажды мне передали письмо А. Б- лабанова из Горьковской области, которое он прислал в журнал «Наука и религия». Автор, судя по всему человек религиозный, писал следующее:

«...Ваши статьи не отвечают на многие жизненно важные вопросы, на неразрешимые проблемы.

Прошу понять меня правильно. Я не защищаю тьмы и мракобесия. Я не поп, а просто человек, который привык думать.

В школе молодые люди знакомятся с произведениями классиков, изучают земной шар и Вселенную. Знания будят у молодежи высокий порыв и прекрасные мечты. Так, девушка видит себя в будущем артисткой или балериной, в красивых нарядах, среди прекрасной старинной обстановки. Ее возлюбленный рисуется ей героем, чем-то напоминающим Ленского или Онегина.

Но, как говорят, «мечты, мечты...». Вскоре происходит конфликт: годы учебы сменяются трудовой жизнью. А в жизни главное — трудись, работай, и не кинозвездой или балериной, а токарем, трактористом, дояркой. Но трактор — не космический корабль, а ферма — не театральные подмостки.

Молодые люди испытывают разочарование. Одни из них, продолжая мечтать и жить грезами, так ничего и не достигают до самой смерти, другие находят забвение в нелюбимом труде и всю жизнь вздыхают: «Скорей бы на пенсию».

В результате одни курят, другие пьют водку, третьи развратничают...

Эта картина ничего другого не оставляет, как возвратиться к нашей религии, к вере в бога. И не такая

уж она, вера, плохая. Просто не надо заострять внимание на ее противоречиях, на ее темных сторонах, которые явились следствием невежественного обращения с религиозным учением. Сейчас она должна стать бальзамом и успокоением для человека.

А именно: до тридцати лет человек бессознательно по своей натуре перенимает все, набирается плохих привычек и пороков. Это — курение, пьянство, лень, разврат и т. д. Затем, с годами, он должен начинать борьбу с дурными привычками и пороками — бросать курить, не пить и в труде находить радость бытия.

До пятидесяти лет человек должен очиститься от всех пороков. А после выхода на пенсию его примет в свое лоно святая церковь. Молясь и очищаясь окончательно, человек готовится к смерти, которая превратится для него лишь в момент перехода из материального мира в мир духовный.

Люди, которые последуют такому образцу, продлят свою жизнь еще, как минимум, лет на двадцать. Ведь геронтология нас учит — не пей, не кури, двигайся, береги нервную систему и проживешь до ста лет, сохраняя ясный, светлый ум...»

Вначале, помню, я хотел сам ответить на это письмо. Но потом подумал о Семене Николаевиче Теплоухове. И мы решили, пусть именно он ответит на письмо, ибо кто еще сможет более убедительно и авторитетно разобрать проблемы, поднятые А. Балабановым, как не он, человек, много лет наставлявший верующих.

И мы снова встретились с Теплоуховым. Я показал ему письмо. Семен Николаевич внимательно прочитал, улыбнулся, откинулся на спинку кресла и заговорил:

— После отречения я часто получаю письма от верующих, атеистов, от людей, колеблющихся между религией и материалистическим мировоззрением. В зависимости от своих убеждений и темперамента авторы писем либо советуются по тем или иным вопросам, либо просят что-нибудь объяснить, иногда с чем-нибудь не соглашаются, спорят и отстаивают свою точку зрения. Эти письма радуют меня, потому что любознательность, стремление разобраться в сложностях и противоречиях окружающей действительности я считаю чертой, формирующей в человеке личность. К сожалению, из-за большой загруженности я не могу уделять этой

переписке столько времени и сил, сколько хотелось бы. Поэтому приходится чаще всего отвечать либо кратко и сугубо по существу письма, либо, если можно объединить несколько писем,— через областную газету «Приокская правда».

Есть и такие письма, авторы которых вступают со мной в длительную полемику по поводу тех или иных противоречий Библии. Письма эти интересны, но не новыми, оригинальными объяснениями противоречий священного писания, а, как это ни странно, боязнью авторов за собственные убеждения. Пытаясь «обратить» меня, они на самом деле стремятся укрепить в себе убывающую веру, отбросить собственные колебания.

Все это я когда-то испытал на себе.

Когда у меня впервые появились серьезные сомнения, я стал самым активным защитником веры. Все свои знания пытался использовать для ее укрепления в окружающих. Но в первую очередь это было нужно мне самому, чтобы хоть как-то удержать в себе то, что неумолимо от меня уходило. Кстати, самые свои страстные проповеди я произнес именно тогда.

Мне кажется, что к этой категории .можно отнести и письмо Балабанова, в котором автор пытается доказать неизбежность возвращения нашего общества к религии.

Прежде чем анализировать положения и аргументы, выдвинутые в письме, обратим внимание на общий его тон. Человек, уверенный в своей правоте, описывает какое-либо происшествие или явление жизни таким, каково оно есть на самом деле. Ибо он прав. Человек же неправый или не уверенный в своей правоте обязательно начнет что-нибудь путать, замалчивать одно, невыгодное для него, и всячески подчеркивать другое, говорящее в его пользу. Нетрудно заметить, что картина жизни человека выписана автором письма только одной краской — черной; жизнь, по Балабанову, ужасна и отвратительна. Кругом царствует порок. Есть один просвет — годы учебы, а дальше — хоть камень на шею и в воду!

Но разве действительность такова? Разве нет в нашей стране у людей счастья труда, познания, любви, отцовства и материнства? Разве нет радости человеческой дружбы, удовлетворения от любимой работы,

разве нет высокого полета творческой мысли? И разве не сплавлено все это в удивительную мозаику будней и праздников нашей жизни?

Балабанов не видит этого.. Вернее, старается не видеть богатства, сочности и неистощимого буйства жизни. Как всякий человек, в глубине души понимающий, что он не прав, автор пытается показать жизнь не такой, какова она есть, а такой, чтобы можно было легче сделать нужные ему выводы.

Отстаивая позиции религии в целом или отдельные ее положения, авторы таких писем явно раздувают недостатки и проблемы реальной жизни, придавая им такое значение, которого на самом деле они не имеют. Делается это иногда умышленно, но чаще всего бессознательно.

Если что-то в реальной жизни вызывает у человека сомнение, он может взять и на опыте проверить, так ли это на самом деле. И тогда либо отрицать, либо утверждать с полным знанием дела. В религии же человек должен верить. Верование же — сугубо эмоциональное состояние. Любой анализ, любое логическое рассуждение, попытка знания — это уже отступление от веры. Знать можно и нужно только священное писание и богословскую литературу, что, впрочем, тоже рекомендуется далеко не всем. Ибо и это может увести от веры и пробудить стремление к знанию. А знание и религиозная вера — явления трудносовместимые.

Пока человек верует истово и безоговорочно, все, что происходит вокруг, кажется ему понятным и объяснимым. Соображение о высшей справедливости, царящей в мире, служит для верующего универсальным ключом к любому, самому противоречивому и запутанному жизненному вопросу.

Если же человек начинает логически мыслить, это уже в какой-то степени отступление от веры. И человек обычно это понимает и опасается дать ход этому процессу. Логическое мышление неизбежно приводит к выводу о противоречивости многих религиозных положений. Оказывается, что мир представлений, в котором верующий уютно себя чувствовал, совсем не так безупречен. Естественно, что человеку хочется вернуть себе эту целостность восприятия жизни, при которой все просто и ясно. Но для этого надо разобраться в

обнаруженных противоречиях. Тогда все вновь станет на свои места. Однако, чем глубже он пытается разобраться, тем больше запутывается, особенно рьяно вступает в полемику с другими людьми, подсознательно преследуя, как правило, две цели: либо доказать себе и окружающим правоту того или иного религиозного положения, либо получить его аргументированное опровержение, то есть опять же и в том и в другом случае — разобраться, знать.

Но, разбираясь в противоречиях мира религиозного, человек неизбежно обращает свой взор и на мир материальный. Он должен сделать свой выбор между религиозным мировоззрением, утешительным, но иллюзорным, и материалистическим — более суровым, но реальным.

Если вам доводилось когда-нибудь меняться квартирами или комнатами, вы могли заметить, что большинство людей в первую очередь отмечают в чужой квартире или комнате недостатки и только потом начинают говорить о ее достоинствах. А ведь сменить мировоззрение — это не жильем поменяться! Естественно, что, сопоставляя два мировоззрения — религиозное и материалистическое, человек первым делом отмечает недостатки и нерешенные проблемы.

Человек, уже утративший безоговорочную веру в религию, но еще не принявший научно-материалистического мировоззрения, пытается их совместить. Из такого желания и возникают рецепты социального устройства общества, в которых доказывается необходимость сохранения религии. Психологически это объясняется просто — совсем без религии колеблющемуся человеку еще как-то непривычно, неуютно.

Давайте рассмотрим рецепт Балабанова.

Он пишет, что «атеизм не отвечает на жизненно важные вопросы, на неразрешимые проблемы». Человечество решает свои проблемы уже не одно тысячелетие — кстати сказать, в этом и религия принимала участие,— и тем не менее проблем перед ним множество. Но иначе и быть не может. В ходе разрешения одних проблем человеческое общество находит новые.

Но другой вопрос, какие же проблемы Балабанов считает неразрешимыми?

Во-первых, противоречие между высокими порывами, прекрасными мечтами юности и реальной трудо-

вой жизнью. Во-вторых, проблему борьбы с пережитками прошлого и асоциальными явлениями (курение, пьянство, хулиганство, преступность, разврат) и, наконец, проблему смерти.

Рассмотрим каждую из названных проблем в отдельности.

Юрий Гагарин мечтал полететь в космос. Ян Корчак, замечательный польский педагог, хотел сделать счастливыми всех детей. Луи Пастер, французский ученый,— избавить человечество от страшной болезни — бешенства.

Грек Герострат жаждал неувядаемой славы. А вот один из персонажей «Мертвых душ» мечтал построить такую высокую башню в своей деревне, чтобы можно было на ней вместе с женой пить чай и смотреть на Петербург!

Гагарин первым из людей побывал в космосе. Ян Корчак, верный своим идеалам, добровольно пошел на смерть, чтобы разделить участь двухсот своих воспитанников, которых фашисты уничтожили в газовых камерах Треблинки. Луи Пастер открыл спасительную сыворотку.

Герострат, чтобы обессмертить свое имя, сжег храм Артемиды Эфесской, считавшийся одним из семи чудес света. А Манилов, конечно, так и не построил свою башню.

Балабанов пишет о том, что молодые мечтают об артистической или музыкальной карьере. Прежде всего для этого, безусловно, нужны способности, талант (впрочем, как и для любой другой профессии). Но еще нужен огромный труд. Кстати, надо еще выяснить, о чем мечтает юноша или девушка. О труде артиста или об аплодисментах, выпадающих на его долю в случае успеха? О работе космонавта или о его популярности? О напряжении творчества поэта или о фамилии на обложке поэтического сборника?

Любить профессию — значит любить сам процесс этого труда. Мечтать о той или иной профессии — значит мечтать об этом труде. Если молодой человек мечтает не о труде какой-либо профессии, а о награде за него, ему не избежать разочарования. Не любя сам процесс труда, он относится к нему отчужденно, неприязненно, а следовательно, и мастерства в нем не достигнет и не получит вожделенных наград.

То же самое происходит и в том случае, если юноша или девушка не испытывает свое призвание, испугавшись возможных трудностей, а берется за первое попавшееся ремесло. Жизнь жестоко мстит за такое малодушие.

Конечно, бывает, что мечту нелегко осуществить. Но ведь на то она и мечта! Мечтают о том, чего надо добиваться. А если человек не отдает всех своих сил для осуществления мечты, это уже маниловщина!

Бывает в жизни и так, что человек мечтает о том деле, к профессиональному выполнению которого у него нет больших способностей. Но ведь и в этом случае положение не безвыходное. Иди в театральную студию, в народный театр, в изостудию, в литературное объединение. В нашей стране самодеятельным искусством и творчеством занимаются десятки миллионов человек! Как видим, неразрешимой проблемы здесь нет.

Смысл человеческой жизни — в труде, только в труде человек может реализовать себя как личность, выразить свою индивидуальность. Это может быть труд землепашца или труд балерины, слесаря или космонавта. Важна не та или иная профессия, а общественная значимость труда и удовлетворение, получаемое от него человеком.

Нет людей без способностей, без призвания, есть люди, не развившие свои способности, не нашедшие свое призвание. Всей стране известны такие мастера своего дела, как Герои Социалистического Труда М. Довжик — целиноградский механизатор, В. Гаганова — ивановская ткачиха, С. Антонов — московский слесарь, А. Злобин — подмосковный строитель... Можно назвать много других знаменитых фамилий. Каждый из них нашел свое призвание.

Религия учит, что смысл человеческой жизни — в совершенствовании себя самого. Но ради чего? Ради приобщения к богу, то есть ради личного спасения. Получается, что религия, во-первых, воспитывает в человеке эгоизм, а во-вторых, вместо реальных ценностей окружающего нас мира человеческой жизни предлагает мнимые ценности мира иллюзорного. Мнимые не только потому, что они обещают человеку блаженство в несуществующем, потустороннем мире, но и потому, что человеческое счастье невозможно без удовлетворенности своим земным делом.

Как видим, первая проблема, о которой пишет Балабанов, разрешима силами самого человека.

Теперь о борьбе с пережитками прошлого.

Автор пишет, что «до пятидесяти лет человек должен избавиться и очиститься от всех пороков». А как и благодаря чему? На это он ответа не дает, ибо понимает, что молитвой алкоголика не увлечешь, а если и увлечешь, то не вылечишь!

Если бы религия могла избавить человечество от его пороков, на земле давно было бы уже царство святых и праведных, ибо она тысячелетия властвовала над умами человечества. Более того, нашему обществу эти пережитки достались в наследство именно от той общественной формации, которую церковь объявляла богоданной, а ее главу — помазанником божьим!

Нет ничего удивительного, что Балабанов не выдвинул религию в качестве способа покончить с пережитками прошлого. Мой многолетний опыт тоже убеждает меня в том, что религия здесь бессильна. Здесь нужны сугубо земные действия.

И наконец, еще одно: после ухода на пенсию человек должен прийти в лоно святой церкви. Для чего? Чтобы встретить смерть без страха.

Христианство учит, что цель человеческой жизни — приобщение к богу. Но достигнуть этого невозможно, пока бессмертная душа не расстанется с грешным телом. Смерть, с точки зрения религии,— это освобождение души для ее единения с богом.

Помню, меня всегда поражал логический вывод из этого положения — значит, человек должен стремиться к смерти и должен быть счастлив от сознания, что умирает. Поражал еще и потому, что в жизни-то, за редким исключением, все бывает наоборот. Разве верующие стремятся умереть, умирают без страха? Людей слабых духом смерть всегда пугает, будь они верующие или неверующие.

А как умирал Александр Александрович Осипов, бывший профессор богословия, убежденный атеист? Находясь в больнице и уже зная о близкой кончине, он отверг все попытки вернуть его в лоно церкви. И умер спокойно, в полном сознании и без всякого страха. Значит, решение проблемы не в приобщении к религии, а в явном и трезвом понимании, что смерть человека — такой же естественный финал жизни, как

рождение — ее начало. Итак, к чему призывает нас Балабанов?

По существу, он предлагает следующее: пусть человек до тридцати лет пьянствует, развратничает, ворует и т. д. От тридцати до пятидесяти лет пусть очищается от своих пороков. А после выхода на пенсию пусть приобщается к богу. Для чего нужна такая программа? Для того, чтобы избавиться от разочарования в несбывшихся мечтах, от дурных склонностей, от страха смерти, и еще — чтобы продлить свою жизнь.

Сопоставим этапы жизни людей, выделенные в письме, и этапы предлагаемой программы.

Судя по письму, разочаровываются в мечтах именно молодые люди до тридцати лет. А что предлагает им программа? Пьянствовать, развратничать, воровать и т. д. Такое предложение абсолютно неприемлемо не только с точки зрения коммунистической морали, но, насколько я разбираюсь в богословии, и с точки зрения морали религиозной!

Второй этап — от тридцати до пятидесяти. Программа Балабанова выдвигает задачу — очищаться от пороков и в труде находить радость бытия.

С этим нельзя не согласиться, но человек должен не к пятидесяти годам, а с юности находить в труде радость бытия. Тогда не будет разочарований, тогда еще эффективнее будет борьба общества с пережитками прошлого. Надо строить жизнь так, чтобы человек вообще не набрался пороков. А у Балабанова получается по известной поговорке: «Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься». Значит, чтобы спастись, надо грешить! Но какой смысл создавать трудности, чтобы мужественно преодолевать их?

Чего же хочет автор письма? Доказать, что нашему обществу необходимо вернуться к религии как спасению от всех социальных бед. Но религия не может быть таким спасением, о чем свидетельствует вся история человеческого общества. Отсюда неубедительность попытки автора доказать что-либо в пользу религии. Именно в этой неуверенности, в слабости аргументации, в выдвижении своих собственных рецептов, противоречащих церковным, я и обнаруживаю сомнения автора письма в его религиозных воззрениях, стремление, убеждая нас, укрепить в уходящей вере себя самого.

«ТРЕТЬЯ ВЕСТЬ» МИХАИЛА КАРАГЯУРА

Он оказался большим и сильным человеком. И хотя столкновение с притолокой гостиничного номера вряд ли грозило ему, он слегка пригнулся, перешагивая через порог. Широкой, жесткой ладонью осторожно пожал мою руку. Я отметил легкую проседь в его черных волосах, гибкие интонации голоса, подвижные, крупные черты лица и умный, чуть ироничный, чуть выжидающий взгляд.

Мы перекинулись десятком необязательных фраз, чтобы присмотреться друг к другу, и решили побродить по городу.

Последним теплом тлело в Донбассе припозднившееся в тот год лето. В Дружковке пахло яблоками, жухлой листвой и горьковатым дымком — в садах жгли мусор.

Михаил Пантелеевич рассказывал о своей судьбе скупо, отдельными эпизодами. И я подумал, что его сдержанность отчасти можно объяснить сопротивлением против того, чтобы не уложили его сложную, противоречивую жизнь в простую схему: был, дескать, религиозным деятелем, стал убежденным коммунистом...

— Если кратко рассказать,— задумчиво говорит Карагяур,— то вроде бы все по такой схеме и получается. Но это и правда, и полуправда. Потому что вместе с мелочами, с подробностями уйдет и главное — жизненный опыт, причины и мотивы...

Он надолго умолкает, и я чувствую, как трудно дается ему возвращение в прошлое, в ту часть его жизни, глубоко личной и сокровенной, как горько и дорого это возвращение, потому что там его детство, его юность и зрелость, лучшие годы в жизни каждого, как бы трудны и как бы горьки они ни были. Он не мо-

жет отречься от них, как не может отречься от части самого себя, и в то же время понимает, что лучшие годы прожиты во имя иллюзии.

* * *

Осенний ветер резко бьет в окна, раскачивает фонари на тихих, пустынных улицах. Михаил Пантелеевич вслушивается в разгулявшееся ненастье со смешанным чувством удовлетворения и беспокойства. Накануне весь коллектив Дружковского горсвета решил лечь костьми, но закончить все работы по ночному освещению нового путепровода. И вот, с раннего утра все, как один, вышли на трассу. Было в этом стремительном дне что-то захватившее всех, уравнявшее должности и ответственность, побудившее каждого делать больше, чем он сам от себя ожидал. И когда в плотных уже сумерках вдруг выяснилось, что все готово, мелькнуло ощущение, будто споткнулись на бегу, не сразу осознали, что делать больше нечего: по освещенному путепроводу неслись первые автомашины...

Теперь, освежившись под душем, он потягивает круто заваренный чай и радуется, что удалось закончить работу. Ветер прибавил бы забот, и вот тогда-то уж действительно пришлось бы «лечь костьми».

Время подбирается к полуночи. Когда-то он пытался завести неукоснительный порядок — каждый вечер отвечать на одно-два письма. Но жизнь заранее не распределишь по часам и минутам, она все графики переломает, а отвечать надо. И лучше всего в такие вот вечера, когда в трехкомнатной квартире тишина и покой.

Письма, письма... Их приходит больше полусотни каждый месяц. Родственники и друзья, знакомые и бывшие единоверцы. И каждое — нить между прошлым и настоящим.

Михаил Пантелеевич встает, идет к письменному столу. В серванте дребезжит посуда. Давно надо бы перебрать полы, да все руки не доходят... В миссионерской школе его учили сосредоточиваться на своих ощущениях, полностью отключаясь от окружающего. Как там у Киплинга: «Течет ритмичная тишина...» Странные зигзаги выписывает жизнь. Давние соратники стали противниками, прежние противники — со-

ратниками. «Все испытывайте, хорошего держитесь...» Тысячелетняя утонченная хитрость оборачивается мудростью. Библия против Библии. «Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все сие будет...» Сколько их прошло уже — род за родом, поколение за поколением... И почти все верили. Верили и ждали. И дед его верил, и отец с матерью. А ведь покрутило отца жизнью, помяло и так и этак. Рос сиротой по родственникам в бессарабских селах, батрачил, пас чужой скот, работал у помещиков. Трудно жил, бедно. Потому, наверное, и верил. Не столько, может быть, в христианского бога, сколько во что-то чудесное, чему суждено когда-нибудь случиться. Едва женился, осел в Вулканештах — началась первая мировая война. Сквозь окопы, газы, ранение пронес свою веру. Считал, что потому и жив остался...

Октябрь семнадцатого хотя и не укрепился в Бессарабии, но и сюда донес необратимые перемены. Вместе с другими безземельными получил небольшой надел и Пантелей Карагяур. Однако земля еще не все — нужны лошадь, живность всякая, инвентарь. Одно займи, другое арендуй, третье купи. Короче — не давалось Пантелею хозяйство. Концы с концами сводил, а по весне все начиналось сначала. Вроде и мужик работящий и умом и силой обижен не был, но вот не шел достаток в руки, и все тут. Да к тому же и в доме все шло не путем. Дети рождались слабыми. Из девяти только трое пошли в жизнь.

От такой тоскливой круговерти стал Пантелей как бы философом. Ко всякому повороту судьбы относился спокойно, как к должному и неизбежному. Православную веру понимал поверхностно, как и большинство односельчан, но отправлял ее исправно, хотя и без особого рвения. Помудрев под тяжкой десницей судьбы, превыше денег и прочих благ ценил Пантелей грамотность, образованность. Глядя на чиновников, местных учителей, фельдшера и священника, вслушиваясь в их степенные разговоры, думал, что обладают они какой-то неведомой, не дающейся ему в руки истиной. И уж бог с ним, с достатком, но все силы положит он, чтобы дети его, коли уж уберег их господь, постигли эту неведомую истину, не бились в полунужде, полугоре, а вот так же ездили бы на бричках с кучерами.

Привольно раскинулось на юге Бессарабии село Вулканешты. Прячась в садах и виноградниках, оно сбегает с холмов к центру, в широкую долину. Когда-то, еще в давние времена, не то купец, не то помещик поставил в центре небольшого тогда села деревянную церквушку. С тех пор Вулканешты разрослись, выбрались на склоны долины, и, вопреки обыкновению, церквушка оказалась чуть ли не в самой низине. Местный священник отец Афанасий неоднократно призывал крестьян воздвигнуть новый храм божий на высоком, красном месте. Сельчане сочувственно слушали и согласно кивали, но жертвовать не спешили. Когда церквушка совсем уже начала разваливаться, ее, собравшись всем миром, обложили камнями и на том успокоились.

Была в поведении православной общины своя, открыто не высказываемая логика. Призывы воздвигнуть новый храм звучали с амвона каждый год, и каждый год начинался сбор денег. Поначалу верующие с молитвами и вздохами несли кто сколько мог на богоугодное дело. Однако всякий раз деньги куда-то исчезали, и сбор начинался сначала.

Между тем как православный храм все больше приходил в упадок, на одной из окраин Вулканешт поселилось несколько семей баптистов. Осмотревшись на новом месте, они сразу подметили скептическое отношение большей части верующих к местному православному храму и его служителям. Лучшей обстановки для успешного миссионерства новоселы вряд ли могли желать. И пошли по селу разговоры об истинной вере и заблуждениях, о православных священниках, которые служат не святому духу, а собственному брюху, о православном «идолопоклонстве» и об истинном спасении — только личной верой в распятого Христа.

Вскоре разросшаяся община сняла большое, просторное здание и устроила в нем молитвенный дом.

Отец Афанасий клеймил с амвона еретиков и лжепророков, внушая пастве, что множество их было еще до рождества Христова, ибо сказал Христос: «Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники».

Проповедники общины в свою очередь напоминали с кафедры молитвенного дома, что господь завещал

любить своих ближних и прощать им грехи. А поэтому, говорили они, простим в сердце своем блуждающих в потемках, простим и пастыря-идолопоклонника, забывшего священное писание, где прямо сказано, что «бог... не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих».

Священник еще больше злился на такое «отпущение грехов» и постепенно терял прихожан.

Пантелей Карагяур оставался верен православию и старался всю семью удержать в его лоне. Но, как на грех, то один сосед, то другой переходили к баптистам. Пантелей и сам с женой и сыном раза два посетил молитвенный дом, но баптисты ему не приглянулись. Больше он туда не ходил и был огорчен и раздосадован, узнав, что жену, напротив, собрания баптистов заинтересовали и она время от времени наведывается туда, что некоторые родственники ее приняли водное крещение.

Тем более приятно было Пантелею, что сын его Михаил исправно ходит с ним в церковь, да и в школе из всех предметов особо выделяет уроки закона божьего.

Мишка действительно искренне любил эти уроки, на которых читали и разбирали тексты из Библии. Веру в бога он усвоил с глубокого детства, и потому в Мишкином представлении существование бога, ангелов, апостолов, пророков и великомучеников было столь же очевидным и не требующим доказательств, как существование его, Мишки, родителей, соседей и приятелей.

Стоическое отношение отца к жизни отложилось в Мишкином характере душевной добротой, полным небрежением к мелким житейским огорчениям и самозабвенной жаждой чудесного. Мир представлялся ему как бы в двух ипостасях — привычной повседневности и огромной сказки,— полным чудесных свойств и загадочных явлений. Обе ипостаси были каждая сама по себе и одновременно одно целое, а повседневность таила в себе приметы чарующей таинственности в хмельном говоре весенних ручьев, в лиственном звоне могучих древних дубрав, в тоскливом посвисте зимних ветров. В этой непостижимой сложности и таинственности жизни и проявлялось, по Мишкиному разумению, божественное устройство мира, воля и попечение господа.

Наряду с древними сказками, легендами и преданиями любил он библейские тексты — малопонятные, а потому, наверное, привлекательные своей таинственностью.

Над истинностью тех или иных догматов веры Мишка в ту пору даже не задумывался. Время от времени мать и крестный отец, перешедший к баптистам, водили его в общину, где Мишке доверяли читать Библию, но различия между православием и баптизмом, усердно разъясняемые проповедниками, не вызывали у него ни раздумий, ни интереса. И если бы не приезд в Вулканешты благочинного Михаила Чакира, возможно, судьба Михаила Карагяура сложилась бы по-иному.

Благочинный прибыл в Вулканешты в один из солнечных весенних дней, чтобы призвать население к сооружению нового храма, провести еще одно следствие о пропаже денег, собранных во время предыдущих пожертвований, и обличить перед лицом верующих ересь баптизма.

Явление благочинного народу произвело эффект, но не имело решительно никаких последствий. Явное равнодушие крестьян к его гневной проповеди против сектантов и еретиков, произнесенной на площади в центре села, отозвалось в душе благочинного горькой обидой, хотя Чакир и понимал, что обижаться прежде всего следовало на самого себя — сколько раз давал себе слово всерьез разобраться в учении баптистов, да все не доходили руки.

Благочинный задумчиво оглядел быстро опустевшую площадь. Лишь он с отцом Афанасием остались на ней да еще худой, высокий подросток лет двенадцати. Чакир благословил его и, ласково потрепав по темной вихрастой голове, спросил, чей, как звать, часто ли ходит в божий храм.

Мишка, а это был он, ответил, что в храм божий ходит, а в школе больше всего любит уроки закона божьего.

— А с баптистами знаком? Бывал у них?

Мишка смутился, но врать не стал. Чакир улыбнулся.

— Ничего, ничего... Если крепка вера в душе, то знакомство с ересью не смутит, а только укрепит истинную веру. Недаром сказано: «Все испытывайте, хо-

рошего держитесь». А можешь достать какую-нибудь баптистскую книгу?

— Могу, наверное... Мне предлагали почитать...

Благочинный повел Мишку к отцу Афанасию, накормил, напоил чаем. Понимающе, сочувственно, как со взрослым, поговорил о жизни, о вере и под конец напомнил о своей просьбе. Мишка, не чуя под собой ног от гордости, помчался в молитвенный дом. Однако там, как на грех, никого, кроме сторожа, не оказалось. Огорченный неудачей, Мишка на всякий случай спросил у него, нет ли чего почитать о баптистской вере. Сторож развел было руками, но вспомнил, что дома лежит сборник гимнов.

Благочинный остался доволен Мишкиным проворством и подарил пареньку Евангелие от Матфея и сборник комментариев к библейским текстам. На прощание же, расчувствовавшись после обильного угощения отца Афанасия, предложил устроить Мишку в духовное училище, а затем и в семинарию.

Пантелей Карагяур воспринял обещание Чакира как долгожданный подарок судьбы.

— Ну, дай-то бог, дай-то бог,— растроганно сказал он.— Ты уж, сынок, постарайся, а мы все, что можем, сделаем.

Визит благочинного нарушил естественность и беззаботность Мишкиной веры. Теперь, представляя свое будущее, Мишка уже не мог, как раньше, не обращать внимания на расхождения между православной церковью и баптистской общиной. В чем суть этих расхождений, Мишка толком не знал, но в разговорах со сверстниками грудью вставал на защиту православия.

Вызвенили, отбурлили вешние ручьи, опало на заливных лугах зеленое царство разнотравья, подсеченное косами, отшелестели медным колосом хлеба, отяжелели виноградные лозы. Мишка ждал обещанного вызова благочинного, но день проходил за днем, а отец Михаил молчал. Наступила осень, и Мишка вновь пошел в школу, с которой уже мысленно распрощался.

— Ну что, помог тебе Чакир? — поддразнивали его дети баптистов.

Мишка пытался оправдать благочинного, козырял цитатами из евангелия, но оказалось, что хотя ребята евангелие знали хуже, выборочно, но была в этой вы-

борочности своя система, четко ориентированная на компрометацию православия и его духовенства.

Между тем время шло, и Мишка вынужден был признать, что благочинный действительно обманул его. Пантелей Карагяур огорчен был не меньше сына, хотя воспринял случившееся с привычной покорностью. Мишка же, для которого это было первым крупным разочарованием в жизни, на время замкнулся в себе, пытаясь примирить созданный в душе идеал праведника отца Михаила и его обман, никак в образ праведника не укладывающийся. Но, размышляя о благочинном, он невольно вспоминал все, что говорили о православии и его духовенстве в баптистской общине, и не мог не признать, что кое в чем баптисты правы. Он перечитал Евангелие от Матфея и, к своему удивлению, обнаружил во многих строках смысл, которого он прежде не замечал. В спорах с детьми баптистов Мишка теперь не столько отстаивал православие, сколько требовал веских доказательств правоты от соперников.

Община пристально и заинтересованно следила за его обращением. Была в этом рослом черноволосом пареньке основательность и убежденность, мечтательность и порывистость, которые, как считали в общине, при надлежащем руководстве могли стать хорошей основой для формирования благовестника, а то и пастыря. Да и сам он все охотнее участвовал в жизни общины.

В семье его увлечение не осуждали, но особой радости ни у отца ни у матери оно не вызвало, хотя мать сама колебалась между православием мужа и баптизмом своих родственников.

Михаил стал своим в общине, выделяясь даже среди сверстников из баптистских семей.

Учеба в школе давалась ему легко. Все свободное время он либо читал религиозную литературу, которой его в изобилии снабжали руководители общины, либо проводил в домах тех верующих, где собиралась вечерами баптистская молодежь.

Четыре года отдал он изучению баптизма. И не было за эти годы ни единого дня, которого не посвятил бы он вере. Собирались обычно часов в шесть вечера и расходились уже за полночь. Среди юношей и подростков образовалось нечто вроде своей маленькой

общины. Это была одновременно и школа изучения Библии, и своеобразный клуб. Проповедники, умело используя стремление к самоутверждению, свойственное юности, направляли его в нужное общине русло. Если кто-нибудь писал стихи, любил петь, декламировать, участвовать в спектаклях, играл на музыкальных инструментах, его талант был известен общине, поддерживался ею и одобрялся.

Михаил писал сценарии на библейские сюжеты, разыгрывал их с молодежью перед общиной, декламировал религиозные стихи, выступал с проповедями среди подростков и юношей. Постижение тайны и смысла бытия, божественное устройство мира, идея всеобщего братства людей и заповедь любви к ближнему, данная Христом взамен ветхозаветного «око за око и зуб за зуб»,— все это, как казалось ему тогда, мудро и неопровержимо утверждается учением баптистов. И он, со всей энергией, искренностью и бескомпромиссностью юности, положил себя на утверждение учения Христа.

Когда через сорок лет он будет выступать перед евангельскими христианами-баптистами, ему не поверят, что он действительно веровал искренне и глубоко. И тогда он произнесет проповедь о заветах Христа, о единстве и братстве во Христе, о сораспятии. Он будет цитировать Евагелия и Послания апостолов, приводить высказывания виднейших богословов и выдержки из «Братского вестника». Столько накала вложит он в свою проповедь, что, когда скажет «Аминь!», зал ответит ему глубокой тишиной.

— Так же, как веруете вы,— скажет он,— так же верил и я. Но во что?

И так же основательно, со знанием дела разберет сначала свою проповедь, а потом переведет разговор на идеалы и основы христианства, на его историю и современное состояние, на иллюзорность его целей. И хотя большинство убедится в его искренности, кто-то пустит среди верующих слух, что он, дескать, Иуда, предавший Христа за тридцать сребреников. Но он снова встретится с ними — откровенный, открытый, непоколебимо уверенный в своей правоте. Эти встречи будут продолжаться из месяца в месяц, из года в год. Одни будут его ненавидеть, другие уважать, а он будет нести в себе горечь подленьких слухов, но по-

прежнему мягко и неотступно убеждать верующих в иллюзорности их взглядов, показывать, что отбирает у человека религия.

* * *

У матери Михаила в соседнем селе жил брат. Убежденным верующим он не был, но религией интересовался и любил поговорить о тонкостях разных вероучений. И случилось так, что именно у него несколько раз останавливался миссионер адвентистов седьмого дня Иорданеску. Зная, что племянник тоже интересуется вопросами веры, дядя как-то привез Иорданеску в Вулканешты, даже не предупредив Карагяуров о том, кто его спутник.

Иорданеску был молод, интеллигентен и умен. Михаилу еще ни разу не доводилось встречаться с подобными собеседниками. Да и не ожидал он такого подвоха от дяди, хотя и знал, что тот большой любитель сбивать людей с толку каверзными вопросами и доводами.

Так оно поначалу и было, но, чем дальше, тем больше принимал участие в разговоре спутник дяди, пока инициатива не перешла к нему окончательно. Иорданеску ограничивался тем, что ловил Михаила на неточностях в цитатах, приводил параллельные места из Библии, доказывая, что Михаил не совсем правильно толкует текст, опровергал одни свидетельства несколькими другими, и все это, почти не заглядывая в Библию. Михаил все больше поражался его знанию священного писания и умению оперировать им. Он чувствовал, что Иорданеску во многом прав, что не только знает, но и понимает Библию гораздо глубже, чем любой проповедник их общины. И первоначальное стремление отстоять истинность баптизма постепенно сменилось восхищением Иорданеску и желанием понять его взгляды.

Между тем Иорданеску гораздо убедительнее, чем баптисты, обличил православие, заявив, что католическая церковь изменила учению Христа и предала его, а папа римский — это и есть антихрист, ведь сказано же в Апокалипсисе, что число его 666 и в пурпуре красном. А вы пробовали расшифровать надпись на его тиаре? Иорданеску взял карандаш и воспроизвел надпись: «Vicarius Filii Dei», затем подставил под ла-

тинскими буквами их цифровое значение, сложил и получил число 666!

Михаил был потрясен. А Иорданеску продолжал обличать католичество. Вспомнил и земную власть папы, и святейшую инквизицию, и заимствование некоторых языческих установлений, вроде строительства храмов алтарем на восток, а затем неожиданно перешел и к баптизму, с которым разделался столь же решительно, сказав, впрочем, в утешение Михаилу, что хотя баптисты и находятся под печатью антихриста, но люди они искренние и просто не ведают, что идут по ложному пути.

— Как же так,— растерянно спросил Михаил,— православная вера — заблуждение, католическая — тоже, баптистская не лучше... Так что ж, нет, выходит, истинной веры? Весь мир, значит, под печатью антихриста?

— Есть истинная вера. Первые христиане соблюдали заповеди божьи,— ответил Иорданеску,— а потом Сатана совратил людей, и подпали они под печать антихриста. Но Христос не допустил забвения веры и отметил своей печатью детей божьих, возродивших его заповеди и несущих его учение погибающему миру. А зовут божьих детей адвентистами седьмого дня! Вот истинная церковь — невеста Христова...

Уже сон сморил и Пантелея, и его жену, и ее брата, а Иорданеску и Михаил все сидели у керосиновой лампы и спорили о Библии, об истине, об истории и миссии христианства...

Этот разговор на многие годы определил дальнейшую жизнь Михаила. Конечно, не сразу стал он убежденным адвентистом. Два года шла в нем внутренняя борьба, два года пытался он понять, действительно ли баптисты неправильно понимают дух учения Христа и не попадет ли он, примкнув к адвентистам, из одного заблуждения в другое. За это время он посетил десятки общин — баптистов, евангельских христиан, адвентистов, свидетелей Иеговы... Везде беседовал с проповедниками и пресвитерами, выписывал литературу, упоминаемую ими в проповедях и беседах. Познакомился Михаил и с миссионерами других христианских течений, наладил переписку с множеством религиозных организаций. Каждую неделю в его адрес приходили книги, журналы и письма. Он просматривал всю

литературу, делал из нее выписки, сопоставлял взгляды и доводы различных религиозных направлений, спорил со своими заочными оппонентами.

Руководители местной общины баптистов, видя, что Карагяур все больше и больше отходит от них, старались удержать его. Это был первый случай, когда общину покидал убежденно верующий человек. Кроме того, несмотря на молодость, Михаил уже пользовался уважением, а среди баптистской молодежи его авторитет был общепризнан. Отход Карагяура не только лишал общину способного будущего проповедника, но и грозил разбродом среди молодежи. К тому же пресвитер чувствовал, что Михаил не просто охладел к вере или переходит в православие, а занят религиозными поисками. А уж конкуренты общине совсем ни к чему!

Михаила пытались уговаривать, убеждать. Но это был уже не прежний подросток, безоговорочно веривший старшим «братьям». Теперь говорить с ним стало трудно даже самым опытным проповедникам — он знал об истории христианства, о различных его течениях явно больше их. И если они еще превосходили его в чисто механическом знании Библии, то он в свою очередь ставил их в тупик многозначностью толкований текстов и более сложным их пониманием.

Иорданеску тоже внимательно следил за религиозными поисками Михаила. Адвентисты приложили немало усилий, чтобы распространить в Бессарабии свое влияние. Но дело подвигалось туго. После нескольких бесед с Михаилом Иорданеску почувствовал, что этот юноша, в котором пылкость сочетается с вдумчивостью, убежденная вера со стремлением отыскать истину, может стать способным и твердым проповедником адвентизма. Он начал уделять Карагяуру больше внимания, старательно и подробно разъяснял и обосновывал взгляды адвентистов, в каждый приезд снабжал его новой кипой специальных журналов и брошюр, особо выделяя книги Елены Уайт: «Патриархи и пророки», «Великая борьба», «Свидетельство для общины», «Опыты и видения» и другие.

Когда через два года раздумий и сопоставлений Михаил решил, что истина в адвентизме, то стал проповедовать его со свойственной ему пылкостью и убежденностью.

В 1938 году он сдал испытания по программе, утвержденной генеральной конференцией адвентистов седьмого дня, и принял водное крещение. Отныне книги Елены Уайт он признавал наравне с Библией, веровал в три ангельских вести — весть о приближении страшного суда, весть о приходе в мир «божьих детей» — адвентистов и в третью весть — проповедь истины, то есть учения Христа.

Своим же земным призванием Карагяур избрал медицину и в 1939 году окончил фельдшерское училище.

Проповеди Михаила имели успех у односельчан. Вскоре ему удалось обратить около тридцати человек, в основном бывших баптистов, в том числе мать и старшую сестру. Видя убежденность и старание Карагяура, руководители окружной конференции рекомендовали молодого проповедника в миссионерскую школу.

Будущих миссионеров учили многому, и в первую очередь тому, как заинтересовать человека учением адвентистов, как совершать обряды, как организовать общину и наладить ее жизнь. Миссионер имел большие права, но на него возлагались и большие обязанности. Он был духовным пастырем округа, в который обычно входило от двух-трех до нескольких десятков общин.

После возвращения в 1940 году Бессарабии Советскому Союзу и образования Молдавской ССР, в состав которой она была включена, в Вулканешты тоже пришла Советская власть. На молитвенных собраниях баптистов и адвентистов шли бурные споры о будущем, о новой жизни. Некоторые руководители адвентистских общин распространяли слухи о том, что приход Советской власти — верная и неопровержимая примета начала второго пришествия Христа. Они нашептывали, что следует ждать массовых гонений на верующих.

У Карагяура не было твердого мнения о том, связаны ли перемены в Бессарабии со вторым пришествием. Все, что он слышал и читал о Советской власти, было крайне противоречиво. Но с другой стороны, в Библии прямо написано, что никому не ведомо, в который час придет сын человеческий. Поразмыслив, Карагяур решил, что самое мудрое — сплачивать и ук-

реплять общину, ибо если слухи подтвердятся, то предстоят большие испытания, сквозь которые он должен с честью провести свою паству.

На собрания адвентистов приходило все больше людей, в основном бывших сторонников баптизма. Проповеди Карагяура, который основной упор делал не столько на второе пришествие, сколько на воплощение в жизни каждого верующего заповеди Христа о любви к ближнему своему, чтобы каждый относился к другому так, как хотел бы, чтобы относились к нему, пользовались неизменным успехом. Но пожалуй, еще больший успех, чем проповеди, приносило общине требование воплощать эти принципы в повседневной своей жизни, за исполнением которого Михаил следил особенно внимательно.

Между тем время шло, а никаких гонений на верующих не было. Вопреки слухам, руководить жизнью села стали не чекисты, не присланные из Москвы комиссары, а свои же, местные: прошли выборы в Советы депутатов трудящихся. Появились на селе и новые люди, как правило служащие. Возникла партийная организация. Правда, Михаила как-то пригласили в райисполком и предложили представить список членов общины, но этим и ограничились. Карагяур внимательно приглядывался к новым местным руководителям, к приезжим, к тем порядкам и моральным принципам, которые утверждали они своей деятельностью, следил за созданием в районе Советов, различных комитетов и комиссий. Получалось, что в практической жизни коммунисты старались каждого привлечь к управлению обществом. Это Михаилу нравилось. Затем в газетах появились статьи о субботниках. Интересно, отметил про себя молодой пресвитер, мы проповедуем отдать субботу служению богу, молитве и спасению грешного мира, а они проповедуют посвятить субботу практическим общественным делам. Мы спасаем душу мира, они — его тело! И когда в Вулканештах, как и во всей возвращенной части Молдавии, была объявлена программа ликвидации безграмотности и Михаила пригласили в райисполком, он согласился участвовать в ее осуществлении не только как учитель, но и как опытный агитатор — уговаривать тех, кто из недоверия или боязни жизненных перемен отказывался учиться.

Он взялся за дело горячо и сразу же привлек к занятиям свою сестру. Педагогических способностей и умения убеждать ему хватало. Активное участие принял он и в коллективизации, убедив вступить в колхоз не только членов своей общины, но и баптистской.

С приходом Советской власти в Вулканештах и окрестных селах появились и комсомольцы, горячо взявшиеся за антирелигиозную пропаганду. Михаил лекции их не слушал, на вечерах не бывал. Относился он к ним снисходительно, в споры не вступал.

«Дело мы делаем одно, а о вере спорить с неверующим — что воду толочь в ступе»,— думал он.

Однако помимо веры комсомольцы задевали и самого Карагяура и других верующих, называя Михаила обманщиком и торговцем опиума. Михаил на эти выпады не реагировал, но единоверцам слушать комсомольцев запретил. И не потому, что боялся за убежденность членов своей общины, как считали комсомольцы, а чтобы не вводить верующих в искушение обидой. Ибо, как наставлял Михаил, прощать надо даже врагам своим, а они нам не враги, они просто глупые мальчишки.

Установление Советской власти вызвало коренную перестройку всего уклада жизни, привело к возникновению новых взаимоотношений между людьми. Конечно, все это произошло не сразу, не вдруг и не без сложностей. Михаил внимательно читал газеты и, чем дальше, тем больше убеждался, что принципы равенства, справедливости и человечности, перекликавшиеся с заповедями Христа, воплощались новой властью настойчиво и последовательно. Но больше всего нравилось Михаилу, что коммунисты, отдавая все силы справедливому устройству общества, не думали о личных доходах и выгодах. «Выходит, что они, как и мы, отринули мирское во имя спасения мира»,— размышлял Карагяур. Он чувствовал этих людей в чем-то своими соратниками, и единственное, о чем он искренне сожалел, что они, при всей своей праведности и убежденности, оказались в стороне от истины, от веры в бога и во второе пришествие Христа. Тем усерднее проповедовал он в общине, миссионерствовал в окрестных селах и деревнях, неся весть о скором пришествии Христа и установлении тысячелетнего царства праведников.

За тот предвоенный год многое передумал Михаил Карагяур. И если в вопросах веры был он тверд и неуступчив, то в отношении к земному устройству жизни людей — полностью солидарен с местными коммунистами. Теперь он часто задумывался над тем, как же так получается, что он и его иноверцы наследуют царство божье, а эти люди, столько положившие сил, чтобы не на словах, а на деле воплотить в жизнь заветы, перекликающиеся с заветами Христа, будут лишены радости попасть в тысячелетнее Христово царство? Уговорить их было невозможно, а Христос прямо сказал: «...Всякий грех и хула простятся человекам, а хула на духа не простится человекам...».

В 1941 году Аркалевский, один из проповедников края, выдвинул кандидатуру молодого пресвитера на утверждение миссионером южных районов Молдавии. Михаила отправили на специальные курсы по проверке знаний. Успешно окончив их, Михаил должен был в конце июня явиться в Кишинев для официального утверждения. Закончив учебу, Карагяур заехал домой, в Вулканешты, и, погостив, 21 июня 1941 года выехал в Кишинев.

Война застала его в поезде, и до Кишинева он не доехал, свернув к Аркалевскому. Аркалевский был растерян не меньше Михаила и ничего посоветовать не мог, кроме как подождать, как будут разворачиваться события.

С границы эвакуировали учреждения, женщин, детей. На молитвенных собраниях баптистов и адвентистов бурно обсуждался вопрос, как быть с христианской заповедью «не убий»: идти на призывной пункт или отказаться по религиозным соображениям?

День и ночь тянулись через село грузовики и подводы, мычал угоняемый на восток скот. Михаила пригласили в райисполком, где теперь разместился какой-то штаб. Подтянутый человек в форме командира устало сказал, что нужно срочно вывести с границы воинское снаряжение, но транспорта не хватает и командование просит его как человека, хорошо знающего местность, отправиться проводником с воинским обозом и помочь бойцам спасти хотя бы часть снаряжения.

Пока грузили снаряжение, Карагяур ходил по окопам. Пограничников было мало. Но то тут, то там в

ячейках траншей сидели уже немолодые молдаване. Румынские войска не спешили наступать, и пожилые добровольцы вместе с пограничниками сдерживали разведку противника.

Когда обоз вернулся в Вулканешты, нашлось новое задание. Теперь надо было доставить продовольствие проходившим стороной регулярным войскам.

В субботу, в десять утра, пресвитер Вулканештской общины адвентистов седьмого дня Михаил Карагяур открыл молитвенное собрание и после проповеди объявил, что все мужчины, получившие повестки, обязаны явиться на призывной пункт. Немного помолчал и тихо добавил: «Вечернего собрания не будет...»

* * *

Серый от усталости и недосыпания, сотрудник военкомата вызвал Карагяура из толпы призывников и вручил ему список команды. Задумчиво оглядел Михаила с ног до головы и сказал:

— Вот, Карагяур... Сто человек. Ты командир. Поведешь на сборный пункт. Если не примут — в Тирасполь. За всех отвечаешь головой.

Шли пешком по дорогам, забитым бричками, телегами, мычащим скотом. Шли на восток, уходя от своих хат, от родных и близких... На сборном пункте команду принять отказались. И снова шли пешком, теперь уже в Тирасполь. Шли мимо вызревающих хлебов, которым уже не суждено быть убранными, мимо сел и деревень, которым суждено сгореть... Шли двести километров.

В Тирасполе колонну объединили с тремя другими и отправили в Балту, затем в Первомайск, в Днепропетровск... Строили оборонительные сооружения, защищали Днепр. И снова в путь, теперь в Ясиноватую. В Ясиноватой прожили почти неделю, затем перебросили в совхоз «Большевик», расположенный неподалеку. Несколько раз ездили в Ясиноватую, в военкомат, просили направить на фронт, но там говорили только одно: ждите, когда будет нужно, известим.

Ждали. Помогали убирать урожай. Из военкомата известий не было. И однажды выяснилось, что без всяких боев весь отряд оказался в глубоком вражеском тылу. Кругом итальянские войска. О том, чтобы пробиться к своим, не могло быть и речи — отряд был

безоружен. Решили разбиться на мелкие группы и пробираться лесами. Михаил с одной из групп направился в Днепропетровск. По слухам, там еще оборонялись советские войска. Но в Днепропетровске уже были немцы, прямо в руки которых и попал Карагяур со своими товарищами. Долго гоняли по лагерям для военнопленных. Из восьми человек их уцелело только двое. В конце концов, изловчившись, совершили побег, но близ города, в поселке Казанка, налетели на полицаев. Догадались говорить только по-румынски, и полицаи, приняв их за дезертиров, доставили в румынскую комендатуру. В комендатуре было не до них, пересылкой отправили на родину, в жандармерию — пусть там разбираются.

И Михаил вновь попал в Вулканешты. Но оказалось, что помнили его на родине не только верующие, родственники и соседи.

— Ба, коммунист прибыл! — встретил его начальник местного жандармского отделения.— Отвоевался за власть Советов?

Михаила отпустили до решения его судьбы, но обязали каждый день являться для отметки. Потянулись дни томительного ожидания. Несколько раз хотел было бежать, но решил положиться на волю господа...

Руководство адвентистов быстро узнало о возвращении Карагяура. Ему достали пропуск, и он поехал в Галац. Там его обнадежили, что похлопочут за него, пообещали устроить в Красный Крест и велели продолжать деятельность пресвитера.

Едва он сошел в Вулканештах с поезда, как его арестовали и обыскали. В жандармерии избили и окровавленного бросили в подвал. Сколько суток лежал он там без пищи и без воды, Михаил не помнит. Когда вывели, чуть не ослеп от солнечного света.

Румынский офицер вежливо предложил работать на румынскую разведку.

— Не могу,— ответил Михаил,— я верующий.

— Вера — это ваше дело. Нас это не касается. Нам нужны сведения, за которые мы будем хорошо платить.

— Мне вера не позволяет участвовать в политике.

— Так.— Офицер помолчал, пристально глядя на Михаила, и вдруг сорвался на крик: — На Советскую

власть работать вера тебе позволяла? — И тихо отчеканил: — Посадим и сгноим заживо.

Михаил молчал. Жандармы приводили отца уговаривать, присылали священника — бывшего белогвардейского офицера. Михаил стоял на своем.

Офицер сдержал слово. Карагяура отправили в тюрьму. Адвентисты старались спасти молодого пресвитера. Его несколько раз освобождали, но тут же снова бросали за решетку. В марте 1942 года Михаила отправили под конвоем в Кишинев.

Вели его от одного жандармского отделения до другого, каждый раз сдавая под расписку. В первый же день его избили так, что дальше пришлось уже везти. Били и потом. Кулаками, нагайками, сапогами. Били старательно, наотмашь, засучив рукава, чтобы не испачкать их в крови, и расстегнув вороты рубашек, так, что нательные крестики мотались перед лицом Михаила. Избив, обливали водой или бросали на несколько часов в ледник, чтобы пришел в себя. Потом ставили на колени в угол и приказывали молиться. Он молился.

— Крестись!

— Мы не крестимся...

— А, сволочь, коммунист, не хочешь креститься?

Снова били...

Больше года просидел он в концлагере под Кишиневом. Всякого повидал. Отправили в Германию. В Тираспольском пересыльном лагере Михаил встретил Митю, бывшего секретаря Вулканештского комсомола. До войны комсомольцы немало досаждали общине своими антирелигиозными диспутами и вечерами, а тут встретились, словно родные. Каким-то образом удалось Мите устроить так, что Михаила оставили в пересыльном лагере. Он предложил сотрудничать с подпольной организацией сопротивления. Михаил согласился. Работал в огородной команде лагеря, снабжал заключенных утаенными от немцев продуктами.

В 1944 году лагерь эвакуировали в Германию. Везли через Румынию, и в Бухаресте, на сортировочной станции, Михаил вновь совершил побег, но вернулся уже не в Вулканешты, а в одно из сел, где его никто, кроме единоверцев, не знал. Спустя некоторое время решил пробраться в Галац. Кругом — неразбериха.

станции забиты эшелонами, немцы нервничают, население ненавидит их. Михаилу удалось благополучно добраться до цели. Собратья по вере его встретили как воскресшего из мертвых, обласкали, предложили сдать экстерном экзамены за курс миссионерской школы. Экзамены Михаил сдал успешно и был назначен миссионером южных районов Молдавии.

Со дня на день близилось ее освобождение. Карагяур нелегально ездил из общины в общину, рискуя быть опознанным и расстрелянным без суда и следствия. Он произносил страстные проповеди о близком освобождении.

23 августа 1944 года Румыния вышла из гитлеровской коалиции. На юг Молдавии пришли советские войска.

В Вулканештах Карагяура назначили уполномоченным по заготовке сельскохозяйственных продуктов. Работа была тяжелая — война разорила крестьянские хозяйства, трудоспособного населения мало — лишь женщины, старики да инвалиды. Карагяур круглые сутки колесил по селам и деревням, совмещая работу уполномоченного с обязанностями миссионера. И то и другое выполнял добросовестно, но страшно вымотался, ослабел и свалился, заболев сыпным тифом, долго лежал без сознания. Однако молодой организм выдюжил. Когда впервые после болезни выбрался на улицу, худой, бледный, то, сделав несколько шагов, замер, прижав руку к груди. Ослабевшее сердце зашлось резкой, колющей болью... При очередном медицинском осмотре его направили к кардиологу и комиссовали: к военной службе непригоден.

Болезнь болезнью, а жить без работы Михаил не мог. Но и найти работу по силам тоже оказалось нелегко. Выручила медицинская подготовка, полученная еще до войны,— Михаила назначили заведующим фельдшерско-акушерским пунктом.

Зима 1946/47 года была в тех краях очень тяжелой. Отступая, фашисты вывезли все продовольствие. Хозяйства разорены, скот либо забит, либо угнан, население, ослабевшее от тягот военных лет и недоедания, валилось с ног то от брюшного тифа, то от малярии... Пахать практически было не на чем, сеять нечего... Страна, как могла, помогала освобожденным районам, но слишком велики были раны, нанесенные

войной, слишком большие территории разграблены и разорены... Ко всему еще добавилась жестокая засуха летом 1946 года. Как дожить до нового урожая, если пусты в хозяйствах закрома и запустение в хлевах и скотных дворах? У людей опускались руки. В общинах уповали на бога и вновь поговаривали о близком пришествии...

И опять видел Михаил Карагяур, что именно коммунисты, не жалея ни сил, ни здоровья, делали все возможное, а иногда и невозможное, чтобы ободрить людей, вселить в них надежду, наладить распределение продуктов, укрепить разоренные хозяйства.

При фельдшерско-акушерском пункте организовали пункт питания, куда помещали истощенных, обессиленных людей, в основном детей, стариков и женщин. Изо дня в день видел он человеческие страдания, изо всех сил старался помочь. Когда наступила долгожданная пора первой огородной зелени, он и сам уже был на грани полного истощения.

Но именно в эту, трудную и страшную послевоенную зиму в его взглядах и убеждениях, в его осмыслении действительности произошел решающий перелом.

* * *

— Много думал я о жизни,— вспоминает Михаил Пантелеевич,— а времени, чтобы думать, у меня было достаточно. И в тюрьмах, и в подвалах жандармерии, и в концлагерях. Скорее даже думал я о жизни и о боге — что в жизни от бога, что помимо него. И пытался понять, в какой степени то людское горе и страдание, которое я видел, зависит от бога. И чем больше видел я горя и страдания, тем больше убеждался, что бог здесь ни при чем, что не может он допускать убийство безвинных людей.

— Но,— замечаю я,— ведь в священном писании повествуется о массе войн, которые происходили, согласно Библии, с полного божьего одобрения и в которых тоже гибли невинные люди.

— Это было до Нового завета. Христос же дал две главные, основополагающие заповеди: «Возлюби господа бога твоего» и «возлюби ближнего твоего». А тут истязают и избивают, и не только мужчин, но и женщин и детей. А Христос заповедовал любить даже врагов.

— Согласно христианскому учению, бог дал человеку не только заповеди, но и свободу воли...

— Ну, со свободой воли тоже далеко не все ясно. Помню, когда я еще выбирал между православием и баптизмом, я не раз задумывался над тем, что получается парадокс — если действительно все, что люди делают, есть исполнение или воплощение божьей воли, то почему тогда одним уготован рай, а другим ад? Ведь даже изверг, убивающий младенца, действует в таком случае не по собственной, а по божьей воле. За что же гореть ему в геенне огненной? И какой смысл был тогда посылать к людям Христа с его заветами и его распятием искупать грехи человечества, если все поступки и грехи людей от них не зависят? Значит, рассудил я, правы те, кто говорят, что бог дал людям законы и заветы и дал волю выполнять их или нарушать, за что и должно им потом воздаться по вере, воплощенной в делах. А божественная воля и провидение проявляются в судьбах мира, в решающих моментах человеческих судеб и в воздаянии по вере. С этим убеждением я и пришел к баптистам...

После первой встречи с Иорданеску Карагяур вновь задумался над этой проблемой. Разные течения христианства и даже проповедники одного и того же течения не совсем одинаково объясняли причины первого и второго пришествия Христа, границы свободы воли человека и божественного провидения. Михаил советовался с Иорданеску, но понял, что миссионеру и самому не все ясно и что он старается незаметно уйти от излишних уточнений.

Тогда Михаил попытался добраться до истины сам. Адам и Ева совершили первородный грех, рассуждал он, и бог выгнал их из рая. От Адама и Евы пошел род людской. Но люди стали грешить и погрязли в разврате. И тогда бог их всех уничтожил и спас лишь праведника Ноя с его семейством да всякую живность. Если бы бог захотел исправить людей и если бы в его власти было влиять на каждого человека, то он исправил бы их. Значит, он либо не хотел, либо не мог исправить каждого человека, но исправить род людской он хотел, иначе бы он не спас Ноя, его семью и всякую живность, в результате чего вскоре после потопа землю опять наполнили люди, звери и птицы.

После потопа, продолжал рассуждать Михаил, бог дал людям законы и заповеди, очевидно, потому, что прежде, без этих заповедей, люди жили неправильно. Однако и заповеди не помогли — чем дальше, тем больше грешили люди. Старался ли бог их исправить? Старался. Посылал к ним пророков, но люди гнали их и били камнями. И тогда, видя, что люди опять погрязли в грехах и даже пророки не могут их вразумить, бог послал к ним своего сына Иисуса Христа, чтобы он дал им новый завет и дал возможность начать жить как бы заново, приняв на себя и искупив их грехи. И опять-таки возникает вопрос — хотел бог спасти и исправить людей? Конечно, хотел! Даже собственного сына, как бы самого себя, послал на распятие! Но тогда получается, что иным способом, своей волей, воздействующей на каждого человека, он не мог исправить людей? Ведь давал же он прозрение и озарение отдельным людям! А почему не каждому? Тогда ведь не надо было бы отдавать на распятие Христа! Может быть, каждому дать прозрение бог не мог?

В первый момент эта мысль не столько ошеломила, сколько испугала Карагяура. Он решил, что впал в ересь, хуже того — в богохульство. И все же он все чаще и чаще возвращался к ней. Если это не так, думал он, почему даже Христос не мог полностью убедить всех своих учеников, хотя не только являл им массу чудес, но и наделил их самих способностью творить чудеса? Разве он этого не хотел? А разве он не хотел, чтобы уверовал в него народ? Но именно народ в Иерусалиме требовал отпустить не его, а разбойника Варавву. Значит, Христос мог творить всякие чудеса, но не мог не то что исправить, а даже убедить каждого встреченного им человека.

Итак, подводил он итоги своих размышлений, бог создал мир и людей в нем. Бог дал им заветы, по которым они должны жить. Бог не может распоряжаться каждым поступком того или иного человека, не может распорядиться судьбой каждого иначе, чем наслав на землю потоп, мор, голод и т. д. Но бог любит людей и не хочет, чтобы они исчезли с лица земли, иначе он не спас бы Ноя и не послал бы на землю Христа. Значит, бог создал людей и будет судить их по делам и по вере их. Но в земной жизни каждому человеку предоставлена полная свобода воли. И если так, то

божественное провидение обнаруживается в трех «вестях» погрязшему в грехе миру: первая — потоп, вторая — явление Христа и третья — второе его пришествие. Вне этого человек предоставлен собственной совести...

Такая концепция соотношения свободы воли человека и божественного провидения вполне устроила тогда Карагяура, ибо исходя из нее легко объяснялись многие библейские предания и явления действительности, ставившие прежде его в тупик.

— Я со многими проповедниками и пресвитерами говорил об этом,— вспоминает с улыбкой Михаил Пантелеевич.— Но почти всем казалось, что слишком уж я вольно толкую понятие свободы воли и слишком малую роль отвожу богу. Возражали по-разному Возражал им и я. Приводил, например, такой довод: «Каин убил Авеля. Чья воля?» — «Каин,— отвечают,— по собственной воле впал в тяжкий грех».— «А волю ему дал бог? Свободу выбора — убить или не убить?» — «Бог».— «А Авелю бог дал свободу воли? Свободу выбора — быть убитым или не быть?» — «Бог тут ни при чем! Каина враг человеческий соблазнил!» — «Значит, воля Каина, убить или не убить Авеля, не от бога зависела?» — «Конечно, не от бога, а от Сатаны!» — «Так ведь я и говорю, что поступки человека от бога не зависят, значит, и судьба тоже не зависит. Бог дал жизнь и дал заветы и за исполнение их спросит в день суда. В этом и заключается свобода воли человека...»

— Это только одна из многих проблем, которые я тогда пытался решить для себя,— продолжает Михаил Пантелеевич,— а было их не одна и не две... С тем я и к адвентистам пришел, с тем и дожил до сорокового года. А потом была война. И немецкие фашисты и румынские жандармы, с которыми сталкивала меня жизнь, были, как правило, христианами. Попадались среди них и православные, и лютеране, и баптисты, короче, представители почти всех христианских направлений. И сколько же встретил я среди них извергов. «Ну в чем,— думал я,— в чем же проявляются их христианские идеалы? Ведь одно дело, если человек не знает учения или не совсем правильно понимает его, и совсем другое, если знает, и в то же самое время самому духу его противоречит». В Библии сказано о детях, что это их царствие небесное и что «нет воли

отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих», а эти христиане убивали детей. Да разве только это? Все, что делали они, противоречило тому, что они исповедовали. Нет, не мог я считать их христианами. И не мог я считать, что все, что происходит на моих глазах, происходит по воле божьей или хотя бы с его согласия.

А с другой стороны, пока мыкался я по тюрьмам да концлагерям, я для себя все больше и больше открывал настоящих людей, готовых ради спасения ближних, как Христос, пойти на распятие. И эти-то мужественные и благородные люди в Христа не верили! Сами гибли, а других спасали. И должны были испытать жестокую кару господню!

Нет, уверял я себя, не может этого быть. Я решил: если человек своими делами утверждает учение Христа, то и воздаяние ему будет по делам его! Много со мной говорили тогда товарищи о моей вере, особенно в Тираспольском пересыльном лагере. И многое в их словах заставляло меня подолгу думать. Но я тогда еще крепко держался за веру. Я просто не мог представить себе мир и жизнь без бога. Убери его, и все рассыпется. Но многое уже смущало меня и в Библии, и в моих представлениях...

Тяжелая послевоенная зима еще раз показала Карагяуру, что именно коммунисты стараются сделать все возможное для спасения людей и налаживания жизни. Он невольно сравнивал местных коммунистов и своих единоверцев и вынужден был сделать вывод не в пользу адвентистов. Коммунисты брались за самые трудные дела, чтобы улучшить положение всего населения, а единоверцы Михаила сосредоточивали свои усилия на помощи отдельным людям, на сиюминутных трудностях. И хотя, как христианин, Карагяур ценил помощь ближнему своему и считал милосердие одной из главных христианских добродетелей, как руководитель общин он понимал, что выправлять положение такими методами все равно что тушить пожар слезами.

В эту тяжелую зиму ему довелось увидеть немало людского горя...

Как-то в минуту душевного отчаяния он вспомнил строки из евангелия: «Истинно так же говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о

всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от отца моего небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». И вот на молитвенных собраниях не двое-трое, а десятки людей самозабвенно молились о спасении умирающего. И не было ничего им от отца их небесного...

После одного из собраний, с трудом дождавшись его окончания, Михаил ушел за село и лег на землю. Долго лежал так, не шевелясь. Потом поднялся и, обратив к вечернему небу свое лицо, начал молиться, сначала про себя, потом шепотом, громче и громче... Вокруг уже стемнело, смолкли птичьи голоса, а он кричал небу слова призыва и отчаяния... Но только далекое эхо было ему ответом. И тогда он почувствовал, что не будет ответа ни ему, ни общине, ни всем общинам на свете. Ни ныне, ни присно, ни во веки веков. Все зря! И вся жизнь его была зря! И тогда он упал на землю, вцепился в нее руками и зарыдал. Он не плакал в тюрьмах, не плакал, когда его били, не плакал в концлагерях...

* * *

Внешне жизнь Михаила Карагяура после этого вечера мало изменилась. Он по-прежнему заведовал фельдшерско-акушерским пунктом, по-прежнему сотрудничал с местным руководством и одновременно разъезжал по общинам. Разве что больше стал интересоваться научной литературой, активнее участвовать в общественных делах да реже выступать с проповедями, которые мало-помалу утратили былую отточенность и страстность. Прозрение его еще не было отходом от веры в полном смысле этого слова. Он понял, что нет в мире бога и нет никаких сверхъестественных сил, но представить себе устройство мира без этих сил он еще не мог. К тому же, разуверившись в существовании бога, он по-прежнему был убежден, что религия приносит людям пользу, и считал своим долгом поддерживать ее в единоверцах. Однако теперь он все больше задумывался над мучительным вопросом: виноват ли он в том, что невольно обманул стольких людей, внушив им веру, и прав ли он, продолжая поддерживать ее? И чем дольше думал он, тем неотвратимее подступала к нему мысль, что вся его жизнь была подобна погоне за миражем в пустыне — он к чему-то

стремился, надеялся, мечтал, искал, страдал, радовался, верил, любил — но дунул ветер, и нет ничего. Только раскаленный воздух струится над мертвыми песками... Но это его жизнь, и за нее он в ответе лишь перед самим собой. А десятки других судеб, за которые он в ответе? Что скажет он этим людям?

И однажды в молитвенном собрании вулканештской общины адвентистов седьмого дня неожиданно прозвучали такие слова ее основателя и наставника:

— Братья и сестры! Сегодня я в последний раз стою на кафедре. Я больше не верую и потому ухожу от вас. Вера моя была искренна и глубока. Теперь ее нет. И нет больше меня среди вас.

Он сошел с кафедры и вышел на улицу. В собрании поднялся шум, крики. Женщины плакали. Мужчины требовали вернуть Карагяура, в чем-то разобраться...

Отречение Михаила Карагяура эхом отозвалось и в соседних общинах. Вслед за Михаилом вышла из общины его сестра. Потом еще несколько человек перестали ходить в собрание, и еще...

Несмотря на отречение, верующие по-прежнему тянулись к Михаилу Пантелеевичу, стараясь понять причины его отхода. Он обстоятельно и терпеливо объяснял. Однако публично выступить категорически отказался. Слишком трудно дался ему разрыв со всем, что было дорого, со всем, чему посвятил годы. И слишком тяжело было встречаться с людьми, которых он когда-то вел за собой.

Вскоре он уехал на курсы переподготовки и, окончив их, получил назначение энтомологом противомалярийной станции в Старо-Санжерейский поселок.

Мир его представлений был разрушен до основания. Несколько лет, с того памятного вечера, когда, в порыве отчаяния воззвав к богу, он понял, что не будет ответа, что взывает он в пустоту, он жил как бы по инерции. Что бы ни делал, куда бы ни ехал, опустошающее чувство свершившейся катастрофы безраздельно владело им. Только иногда оно отступало, но лишь затем, чтобы вновь нахлынуть, еще острее и пронзительнее, будто во всем этом огромном, оживленном и деятельном прежде мире нет теперь никого и ничего. Что бы он ни начинал делать, не было в этом никакого смысла. И нет смысла в жизни, и в смерти тоже нет...

Не зря говорят, что время — лучший лекарь. Конечно, ничто в жизни не дается даром и даром не проходит. Каждый из нас учится жизни на собственных ошибках и расплачивается за них сполна временем, здоровьем, счастьем, а иногда и самой жизнью. Но идет время, и горечь ошибки, мучительные размышления над ней постепенно, исподволь образуют некий кристаллик опыта и мудрости, сквозь который отныне преломляются наши чувства, оценки и поступки.

Пережил, перемог остроту отчаяния и Михаил Пантелеевич. Помогла работа, новые товарищи, близкие люди и конечно же книги. Интерес к людям, к работе, к жизни постепенно вернулся к нему. Предстояло заново все осмыслить, предстояло на месте, уже расчищенном от обломков былых иллюзий, заново сотворить свой мир, заново найти себя в нем. Многое из того, что ранее отбрасывал он как несущественное и суетное, оказалось в этом новом мире важным и необходимым.

Он опять вернулся к истории христианства, но теперь уже смотрел на нее с разных сторон, изучал разные свидетельства и точки зрения. От истории христианства он как-то незаметно для себя перешел к истории философии и вдруг увлекся ею, захваченный мощью человеческой мысли. Классиков философии сменяли классики художественной литературы. Он забывал себя, забывал все вокруг, страдая и любя, ненавидя и борясь вместе с героями романов, повестей и рассказов. Один мир человеческих страстей сменял другой, и, размышляя над судьбами героев прочитанных книг, он ловил себя на том, как одномерен, хотя тоже наполнен своими чувствами и переживаниями, был его прежний мир. И вновь брался он за труды философов и вновь через некоторое время откладывал их ради Бальзака или Фейхтвангера, Толстого или Достоевского, Хемингуэя или Франса... Он открыл для себя музыку и тоже увлекся ею.

Так, шаг за шагом, открытие за открытием совершалось исцеление души.

Деятельность энтомолога теперь тоже не удовлетворяла его. Малярия резко шла на убыль, и работа, прежде беспокойная и напряженная, все больше становилась чисто профилактической, в то время как по-

требность его приносить людям ощутимую пользу все настоятельнее требовала реализации.

Исподволь, постепенно зрело в нем решение сменить обстановку, специальность и начать в тридцать с лишним лет жить как бы заново. Ему ли было теперь унывать, испытав все, что полной чашей отмерила ему судьба!

И он начал жить сначала. Переехал в Донбасс, сначала в Константиновку, где жила теперь его сестра, Елена, а затем прочно обосновался в Дружковке, городке, который в чем-то походил на Вулканешты. Перевез семью и начал работать на машиностроительном заводе имени 50-летия Советской Украины. Жизнь выучила его многим ремеслам, он мог быть и слесарем, и плотником, и еще добрый десяток профессий был знаком ему, но с нуля так с нуля. И он пошел в литейку учеником. Литейку и сейчас-то не очень охотно показывают гостям, а когда он в первый раз тогда вошел в нее, дым, пламя, грохот, копоть, искры — не цех, а сущий ад.

Сквозь литейку проходила масса людей. Едва поступив сюда, новички, как правило, тут же стремились перейти в механические цехи. И в литейке вечно не хватало рабочих. Не ждал начальник цеха постоянства и от этого статного, широкоплечего, черного, как цыган, человека со странной фамилией, которую не сразу-то и выговоришь. Хорошо, если месяца три-четыре продержится, а там ищи другого... И подписывая заявление, начальник вздохнул.

Новичок и впрямь оказался непоседой. В несколько дней освоил свое дело и стал подменять товарищей. Через месяц его назначили бригадиром, но он перешел на другой участок, затем на третий... Работа была ему по душе — он с наслаждением чувствовал, как тело его наливается упругой силой, и ощущение этой силы, своей власти над тяжелым и трудным ремеслом переполняло его радостью. Он прошел весь технологический процесс, освоил почти все специальности, стал мастером.

Как-то в проходной он заметил объявление о приеме в народный университет. Сочетание слов удивило его, он задержался и принялся читать. А на следующий день записался на факультет научного атеизма. Стал ходить на лекции, но вскоре и он, и руководители

занятий поняли, что ему нужно что-то другое. И вот каждый месяц Михаил Пантелеевич стал ездить на два-три дня в Донецк, на факультет научного атеизма при Доме политпросвещения областного комитета партии. Донецк от Дружковки — не ближний свет, километров восемьдесят. Возвращался глубокой ночью, а утром, чуть свет,— в цех.

Теперь, начав новую свою жизнь, он, как и раньше, отдался ей целиком. Семья, работа, факультет научного атеизма, книги, переписка с друзьями, старыми и новыми, музыка. Опять ему не хватало суток. Но теперь мир его словно распахнулся — столько было кругом интересного, того, что он считал долгом успеть понять, увидеть, сделать...

В 1963 году коммунисты завода приняли его в партию. И когда в парткоме его спросили, какое он хотел бы исполнять поручение, он, подумав, сказал, что хотел бы нести верующим третью весть.

Его не поняли:

— Что за третья весть?

Он улыбнулся, помолчал, потом ответил:

— Когда-то я нес верующим, как я тогда считал, слово последней истины, третью весть — о грядущем пришествии Христа. Теперь я хочу нести им другую «третью весть» — весть о настоящей истине, о том, что высшее служение человека — служение людям...

После этого и состоялась его первая встреча с верующими. Он знал, что она будет нелегкой. Но он пошел, чтобы поделиться с ними опытом своей жизни, чтобы разубедить их в том, в чем ранее убеждал.

* * *

Мы попрощались с Михаилом Пантелеевичем на автовокзале. Объявили посадку. Я занял свое место у окна. Автобус тронулся. Я помахал ему рукой. Он, улыбаясь, ответил. Я всматривался в вечернюю степь и думал об этом добром человеке. Думал о том, сколько мужества и силы воли надо иметь, чтобы пройти все, что он прошел, и стать таким, каким он стал. И как надо любить людей, чтобы нести им трудный и горький опыт собственной жизни. Нести свою «третью весть» — о том, что если и есть в этой Вселенной высшие силы, то это силы человеческого разума, мужества и доброты.

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

В мире существует несколько сотен различных религиозных течений, направлений, сект, толков, согласий и так далее. И представители каждого из них считают себя и только себя обладателями истины, а всех остальных — заблуждающимися. Истина же их заключается в «правильной вере» в «настоящего» бога. Однако ни одному из этих многочисленных вероучений не удалось доказать, что именно оно истинное. Получается, что либо ни одно из них истиной не обладает, либо все они обладают, но каждое — своей. Однако в последнем случае выходит, что в мире существуют одновременно сотни богов, в то время как подавляющее большинство вероучений утверждает, что бог один!

Перед человеком, пытающимся докопаться до истины, естественно, встает вопрос: кому верить — одному из вероучений, всем или никакому? Если верить одному, то почему этому, а не другому? Ведь несомненными доказательствами своей истинности ни одно из них не обладает.

Можно возразить, что почему-то люди все-таки посвящают свою жизнь православной вере, католической, баптизму и так далее. В самом деле, почему?

Однозначно ответить на этот вопрос невозможно — очень уж по многим мотивам люди приходят в религию и уходят из нее. Но можно с уверенностью сказать, что основную массу убежденно верующих людей составляют те, кто воспитывался, подобно Семену Николаевичу Теплоухову или Михаилу Пантелеевичу Карагяуру, в религиозной семье. Представления, усвоенные с детства, не только наиболее прочно закрепляются в нашем сознании, они еще и чисто психологически становятся нам особенно дороги.

Вспомним еще раз Семена Николаевича Теплоухова. Его мать — Екатерина Ивановна — в младенческие годы ежедневно беседовала с ним о православной вере, рассказывала библейские сказания, истории библейских пророков и апостолов, жития святых и великомучеников. Как и всякий ребенок, Семен задавал ей массу вопросов, на которые она подробно отвечала. Потом, как вы помните, развитием и закреплением религиозных взглядов и убеждений Теплоухова руководили отец Иннокентий, будущий митрополит Филарет и архиепископ Димитрий Воскресенский.

В пору своей зрелости Семену Николаевичу приходилось сталкиваться и с представителями других вероучений. Но с одной стороны, к тому времени он уже столь прочно сжился с православием, а с другой стороны, настолько превосходил своих оппонентов и в эрудиции, и в знании истории христианства и богословия, что столкновения эти не вызвали в нем сомнений.

А вот для Карагяура достаточно было разочарования в одном из представителей православного духовенства, чтобы его вера сначала поколебалась, а затем, под воздействием критики баптистов, уступила свое место другой. Переход его из православия в баптизм был достаточно легким и во многом неосознанным, не в пример переходу из баптизма в адвентизм.

Надо отметить и такой момент — если бы не встреча с Иорданеску, Карагяур, вероятно, продолжал бы исповедовать баптизм. Ну а если бы после встречи с Иорданеску судьба свела бы Михаила Пантелеевича с приверженцами другого вероучения, еще более эрудированными и еще изощреннее толкующими Библию? Нет сомнения, что Карагяур, как, впрочем, и любой другой верующий человек, обладающий пытливым умом и пытающийся отыскать истину, последовал бы за своими новыми знакомыми.

В отличие от научных теорий, которые, даже будучи вначале непонятыми и отвергнутыми, со временем, если они истинны, получают всеобщее признание именно силой своей истинности, ни одно религиозное учение подобным свойством не обладает. Оно существует либо за счет людей, верующих по традиции, как Теплоухов до своего отречения, либо в силу искусства убеждения некоторых проповедников.

Эта ситуация давно уже замечена и трезво оценена деятелями различных религиозных направлений, создавшими с этой целью специальный институт миссионеров, которых очень серьезно и тщательно обучают методам убеждения людей.

Прежде чем принять ту или иную научную истину, человек внимательно проверит, не заблуждение ли это. Ведь научная истина постигается разумом и всегда может быть проверена им.

Но «истина божественная» — «высшее откровение» — постигается, как утверждают проповедники, чувством и только чувством. Зачем же тогда специальные приемы обработки людей, тщательно разработанные методы их убеждения? Ведь откровение есть откровение — это внезапное озарение, высвечивающее в сознании человека что-то ранее от него скрытое. Можно ли убедить человека озариться? Вряд ли! А вот внушить ему можно многое, и в том числе весьма и весьма далекое от истины.

Но если истиной не обладает ни одно из вероучений, то, может быть, они обладают ею все вместе? А как же тогда насчет единого бога? Ведь каждая из моноистических религий утверждает своего бога, во многом отличного от бога другой?

Этот вопрос служит камнем преткновения для многих верующих, проповедников, священнослужителей. Каждый пытается решать его по-своему. Одни, подобно страусу, прячут голову под крыло, то есть делают вид, что такой проблемы вообще не существует. Другие же, подобно Евдокии Михайловне Сидоренко или Виктору Ивановичу Гарбузову, о которых мы сейчас расскажем, приходят к истине после долгих лет поисков и метаний.

ЕВДОКИЯ СИДОРЕНКО И ЕЕ «БРАТЬЯ»

Село Боград — один из районных центров Хакассии (Красноярский край) — расположено среди сопок, на границе, разделяющей автономную область как бы на две части — степную и таежную. Село раскинулось в долине — среди негустой зелени деревьев стоят добротные сибирские дома, в большинстве своем деревянные. Но и кирпич краснеет то там, то здесь, и среди приземистых строений поднялись первые четырехэтажные здания.

Меняется жизнь — меняются люди. Хорошо, конечно, когда человек и здоровьем от рождения не обижен, и счастьем житейским не обделен. Но бывает, что как начнет ломать да корежить его жизнь, так только, как говорится, дай бог сил...

Она сидит напротив меня — спокойная, худощавая, русоволосая. За стеклами очков — светлые, приветливые глаза. Только правая рука, слегка согнутая в локте, так и не выпрямляется до конца, да выпрямленные пальцы, наоборот, не сгибаются.

— Родилась я,— рассказывает Евдокия Михайловна,— в 1928 году. А в двадцать девятом заболела менингоэнцефалитом. Не успели родители с этим горем сжиться, как меня парализовало — правую сторону тела. Короче, с самого рождения беда за бедой в дом спешит.

Жили тогда Сидоренки на таежном хуторе в Хакассии — семей двенадцать. Сибирская изба на две половины — в одной родители матери, в другой мать, отец, Евдокия да родившийся вскоре брат Анатолий. Деревянный пол, две кровати, стол, выскобленный ножом, русская печь, табуретки да еще в углу две иконы — так запомнился ей отчий дом.

— По нынешним временам даже трудно сказать, верующими ли были отец с матерью в первые годы своей семейной жизни. В церковь не ходили, свечек не ставили, постов тоже особенно не соблюдали. Но после еды или перед сном не перекрестишься — либо отец ложкой по лбу ударит, либо мать подзатыльник даст. Это уже потом, когда ни врачи, ни знахари не смогли меня вылечить, потянулись они к религии — на чудо надеялись... Почти до пятнадцати лет скиталась я — от знахарей в больницу, из больницы к знахарям. Ровесники на лыжах, на коньках, а я либо дома на скамейке, либо в больнице на койке.

То ли врачи все-таки помогли, то ли время свое взяло, но в десять лет начала я потихоньку ходить в школу. Но и тут обделенной оказалась. Мои одноклассники были на три года моложе меня. А в том возрасте три года — большая разница. Да и опять — у них игры, забавы, а у меня что? Вот и стало мне все чаще казаться, что лишняя я на этом свете — только сама мучаюсь и другим жить мешаю... Но представлю, как мать с отцом убиваться будут,— вся решимость пропадает. И жить — мучить их жалко, и горе такое на душу им положить — тоже жалко... А отец с матерью — они тогда уже истово в бога уверовали — все меня к нему пытались повернуть. Я и верила и не верила. И надеяться хотелось на божью милость, и надежды не было, да и веры тоже не было. А тут июнь сорок первого...

Мужики один за другим — в армию. Не то что наш хутор, а и райцентр обезлюдел — старики, ребятишки да бабы. Помню, самым долгожданным и самым страшным человеком стал почтальон. Помню, как отчаянно голосили бабы по убитым, исступленно взывали к богу. И помню самое страшное — когда почтальона уже не ждут...

К нам «похоронка» пришла в сорок втором. С того дня мать начала слепнуть и вскоре стала инвалидом... Ох, трудная была година. С фронта-то вести тоже шли невеселые... Руки работают, а в голове мысли крутятся, душа какого-то утешения просит. Вот и начали тогда «утешители» появляться. То тут, то там в церквах вдруг иконы стали «обновляться». И потянулись туда страждущие, не столько веруя, сколько надеясь на чудо... И мать паломничала, и я. К тому времени

я уже тоже уверовала, если еще и не в бога, то в судьбу, в предопределение свыше. Да и то сказать, ведь ко мне одна беда другую вела, та не успевала на табуретку сесть, а уж глянь — третья в окно стучится... Но может быть, и зарубцевало бы время эти раны и жизнь вошла бы в обычное русло...

Татьяна Никифоровна Сидилева приехала в поселок Орджоникидзе не то в сорок втором, не то в сорок третьем году. Незадолго до того попала она в автомобильную аварию. Пенсию ей не дали — признали трудоспособной, но устраиваться на работу Сидилева не спешила. Среднего роста, выглядевшая значительно моложе своих сорока лет, разговорчивая, она легко сошлась с местными верующими. Заинтересованно выслушивала горькие рассказы о нелегком житье-бытье, цитировала Библию, укрепляя колеблющихся, утешая страждущих, сочувствуя осиротевшим. Ощутив понимание и поддержку, верующие охотно раскрывали ей свое сокровенное.

Татьяна Никифоровна для каждого находила слово утешения. Но разговоры эти были для верующих одновременно и школой изучения Библии. Им, знавшим священное писание с пятого на десятое, Сидилева как бы заново открывала Библию и незаметно привела своих новых знакомых к столкновению с их собственными прежними взглядами.

Среди православных (других верующих в поселке не было) начался раскол. Одни всячески ругали Сидилеву, называя ее еретичкой, другие приводили в доказательство правоты Татьяны Никифоровны один из самых сильных ее аргументов: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих...» Православные клеймили отколовшихся нудами, а те их — догматиками... И тогда Сидилева сказала своим приверженцам, что есть только одно истинное учение — баптизм!

Как-то, вернувшись с паломничества в одну из дальних церквей, Евдокия Сидоренко застала в доме незнакомую женщину, беседующую с матерью о вере, о «священном» писании... Это была Сидилева.

— Я в то время постоянно о жизни размышляла,— с грустной улыбкой рассказывает Евдокия Михайловна.— Где же, думаю, в ней истина? Один так говорит,

другой эдак, а в жизни-то, смотрю, чаще всего и не так и не этак, а совсем по-другому... Где, думаю, справедливость? Если бы она существовала, то разве была бы я с детства покалечена? Разве не победили бы наши солдаты фашистов легко и быстро? Отец, думаю, хороший человек, добрый, погиб, а пропойцы — было несколько таких — живы, вдали от фронта, да еще пьют непонятно на что... А разве мать моя кому зло какое сотворила, что дочь у нее калека, что мужа лишилась, что мир для нее темен стал, как ноябрьская ночь? Куда ни повернусь — нет, получается, справедливости в мире, добра нет... А с другой стороны, ведь живем же мы, и молодые живут, и старые, да еще и умирать не хотят... Значит, есть в этой жизни какой-то смысл, для чего-то это все устроено? И если действительно нет ни истины, ни добра, ни справедливости, то как же тогда мир-то существует? Все, помню, опору я пыталась себе найти, чтобы все на своих местах стояло... Только не было ее, этой опоры. И казалось мне, что все идет наперекосяк, ничто ни с чем не сообразуется. И в боге тоже опоры не находила.

Тут и встретилась я с Сидилевой.

Она за несколько дней все мне объяснила. Все мои сомнения резала текстами из Библии. Убедила, что несчастьями своими я избранница божия, что нет мне исцеления потому, что блуждаю во тьме, а не в истинной вере, что православие — потемки и заблуждение, ибо неправильно толкует «священное» писание... Слушала я и только диву давалась, как все здорово у нее получается. Я ведь к тому времени как созревшее яблоко была. Тряхнула меня Сидилева, и упала я прямо в руки ей. А Татьяна Никифоровна еще и посулила: уверуешь— исцелишься...

В сознании девушки мир разделился на островок евангельских христиан-баптистов, единственных обладателей истины, ведущей к добру, справедливости, любви, и на океан, в котором барахталось в грехах и пороках остальное человечество — заблудшее и погибающее.

Уверовав со всей искренностью истосковавшейся, изболевшей души, девушка испытывала не только чувство блаженства от собственного превосходства, но и жалость к инакомыслящим, желание помочь им, вывести их из трясины заблуждений. Но для этого

надо было учиться. Учиться и «мирскому» и «духовному».

— Конечно, какой уж тут коллектив, какие подруги. Бывало, прямо из школы — к Сидилевой. Сидим с ней по полдня — священное писание разбираем. Одноклассницы мои кто спортом увлекся, кто книгами, в кино всем классом бегали... А я — к Сидилевой, к верующим, к Библии... А после восьмого класса, как ни отговаривала меня Сидилева от учебы, уехала в Красноярск и поступила в финансово-кредитный техникум.

Так в душе Евдокии Михайловны сошлись воедино два малосовместимых стремления — к богу и к знаниям. Не зря отговаривала ее Сидилева от учебы, не зря цитировала строки из Библии: «Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Опытная проповедница прекрасно понимала, что поступление в техникум может разрушить «храм веры», воздвигнутый в сознании ее подопечной. Но убедившись, что уговорить девушку не удастся, она вручила ей письмо в красноярскую общину.

Неприметная, замкнутая студентка исправно шла утром в техникум, старательно слушала преподавателей и так же старательно выполняла все задания. А после этого наступала другая жизнь. В этой другой жизни ее сердце устремлялось к бесконечному, вездесущему, всемогущему и всеблагому, который есть любовь,— к богу. Она напрягала в молитве все свои душевные силы, и моменты наивысшего напряжения казались ей соприкосновением с божественной благодатью. И потому, когда ее стали спрашивать, прежде чем принять в «стадо Христово», почему она хочет стать «сестрой», верует ли в Христа, готова ли быть гонимой за имя его, не отступит ли, если будет соблазнять ее мирское, она восторженно отвечала, что все мирское отвергает.

Окраины Красноярска погружались в осенний сумрак. Над Енисеем дул стылый октябрьский ветер. Двенадцать юношей и девушек, облаченные в белые длинные рубахи, друг за другом входили в студеную реку. Пожилой мужчина клал им руки на плечи и, что-то приговаривая, поочередно погружал на мгновение в воду. На берегу пел псалмы небольшой хор: «Не расскажет ручей говорливый...». Так Евдокия Сидоренко приняла водное крещение.

— Вера моя была искренна и глубока. И была я уверена, что только мы, евангельские христиане-баптисты, непогрешимы и живем в телесной и духовной чистоте. Конечно, я не считала себя безгрешной. Наоборот, я исступленно каялась, поймав себя на каких-то «греховных» мыслях или желаниях. Но я-то свой грех отмолю, да и господь видит, что сатана меня искушает, а они, мирские, думала я, погрязли в грехах и нет им спасения. Читать художественную литературу, газеты, журналы, слушать лекции, радио, смотреть кино, ходить в театр, участвовать в общественной жизни казалось мне безнравственным. Мы, избранные, должны быть далеки от «мирской грязи» и «сатанинских соблазнов». Желание учиться и стремление служить богу раздирали меня на части. Утешало только одно — постигнув священное писание и мирскую науку, я смогу нести людям свет моей веры. Но и тут религиозные запреты то и дело воздвигали передо мной барьеры. Надо писать сочинение по какому-нибудь роману, а книгу читать грех!

Казалось бы, изучение физики и химии, истории и литературы должно было заставить молодую девушку задуматься над ее религиозными убеждениями. Могли бы, наверное, и преподаватели поближе познакомиться с Сидоренко, попытаться понять ее мятущуюся душу. Но шли трудные послевоенные годы. Люди восстанавливали огромное хозяйство страны, налаживали собственную жизнь. Еще свежи были у всех в памяти трагедии военной поры. У каждого были свои неотложные дела, свои трудные проблемы. Короче говоря, и преподавателям, и подругам Сидоренко поначалу было не до нее. Физику и химию, историю и биологию девушка добросовестно выучивала — усидчивости ей было не занимать. Но те знания, которые должны были бы, по логике вещей, формировать у нее научное мировоззрение, Евдокия пропускала сквозь сито своих религиозных взглядов, разделяя на два вида: одно в память, другое в душу.

Конечно, такая разорванность не проходила безболезненно. Девушка то и дело спотыкалась, не умея объяснить себе противоречия между научными положениями, в достоверности которых она не сомневалась, и религиозными догматами, в которые она безоговорочно верила. Иногда по монолиту ее веры раз-

бегались трещинки. Не самого бога касались ее сомнения, а устройства мира и его библейских толкований. Из преподавателей никто не заметил ее сомнений, и студентка шла в общину, где проповедники, не обладая знаниями преподавателей техникума, но хорошо понимая ее сомнения, объясняли младшей «сестре», что противоречия эти — кажущиеся, что человек постигает только то, что позволил ему постигнуть бог, а какое же может быть противоречие между верой в творца и делом рук его? Получив такое разъяснение, девушка с просветленной душой шла на спевку молодежного хора баптистов или на собрание молодых «братьев» и «сестер».

К тому времени она проповедовала у себя дома, в орджоникидзевской общине, куда приезжала на каникулы, обратила в баптизм свою мать и бабушку. Ободренная первыми успехами, она начала осторожно, исподволь беседовать с подругами по техникуму о справедливости, о добре и зле, их житейском и религиозном понимании. Девушки поначалу не соглашались с ней, спорили, но она раз за разом одерживала маленькие победы. Впрочем, что они могли возразить ей? То, что знали они, учила и Сидоренко, иногда даже старательнее. Но она хорошо ориентировалась в Библии, в баптистском вероучении, а ее сокурсницам все это было в новинку. И когда руководители техникума случайно узнали, что Сидоренко и двадцать восемь ее подруг по общежитию собрались идти на молитвенное собрание баптистов, это произвело впечатление взорвавшейся мины.

Вот теперь у преподавателей техникума нашлось время и для совещания, и для частых бесед с каждой из двадцати восьми девушек. Достаточно быстро убедив их в несостоятельности религиозных взглядов, преподаватели с ходу взялись и за Евдокию. Однако тут дело оказалось сложнее.

Она не вступала в полемику, но на самые простые вопросы отвечала невпопад, потому что во время таких бесед она... молилась! Любой разговор с атеистами о вере казался ей страшным грехом.

После окончания техникума Евдокию распределили в город Балей Читинской области. На прощание община подарила девушке Библию. Читай, сестра, и крепни в вере.

В Балее баптистов не оказалось. Два года Евдокия Сидоренко углубленно день за днем изучала Библию. Помогали навыки, приобретенные в техникуме. Добро, справедливость, истина, любовь... Она старательно выписывала в особую тетрадку все, что говорилось о них в Библии, заучивала эти тексты наизусть, мысленно задавала себе вопросы об отношении веры к тому или иному явлению жизни и пыталась сама на эти вопросы ответить. Тренировалась в опровержении библейскими текстами различных научных положений, противоречащих религиозным взглядам. И молилась горячо, самозабвенно.

Рабочие дни ее мелькали незаметно один за другим за бесконечными колонками чисел, оформлением отчетов и сводок. К вечеру, мешая работать, наплывала непрошеная грусть, смутное ожидание какой-то перемены. Когда ее сослуживицы, поглядывая на часы и обмениваясь торопливыми фразами, что надо забрать из садика детишек, заскочить в магазин, успеть к приходу мужа приготовить ужин, одна за другой стремительно уходили, щемящая тоска скручивала ее сердце. Но она усилием воли как бы раскручивала эту тоску, горячо, истово молилась, напрягая все свое самообладание. Глядя прямо перед собой, быстро шла по шумным вечерним улицам к скудному ужину и к единственной в ее жизни радости — к Библии.

Но чем больше читала она «священное» писание, чем больше текстов выписывала в заветную тетрадь, тем больше обнаруживала разночтений, несоответствий и прямых противоречий. Вначале это казалось ей каким-то наваждением, дьявольским искушением, испытанием в вере. В такие минуты она бросала тетрадку, металась по крохотной комнатке, горячо взывая к богу с единственным желанием — вызвать знакомое ощущение «благодати». Молитвы сменяли одна другую. И наконец, хрупкий организм сдавался: ее подхватывала мягкая, теплая волна полубеспамятства. Приходило сладкое ощущение легкости, и казалось, что это душа освободилась от бренного, греховного тела и устремилась в очарованную синь, к порогу обители Христовой.

Потом всегда болели виски, словно их стянуло проволокой, ныло все тело, дрожали руки, путались мысли. Но сомнения не уходили. Они становились все бо-

лее тревожащими и пугающими. Через некоторое время она поняла, что дальнейшее изучение Библии все больше удаляет ее от когда-то радостного постижения истины.

Теперь она уже не мечтала открыть глаза людям. Хотя бы самой во всем разобраться!

Нервное напряжение во время учебы и добровольное двухлетнее затворничество начали сказываться на ее и без того незавидном здоровье. В облфинотделе к Сидоренко отнеслись с сочувствием — перевели в Читу, где она могла совмещать работу с лечением.

Переезжала она с радостью. В Чите была община баптистов, и Сидоренко надеялась излечиться там и телом и душой. Думала ли она тогда, что именно Чита станет поворотным пунктом в ее религиозных исканиях?

И когда во время нашей встречи я спросил, что заставило ее порвать с религией, она ответила:

— Жизнь. То, что не смог сделать ни один атеист, настолько я была фанатична, сделала жизнь.

В Чите Сидоренко стала жить у Елены Тимофеевны Тафинцевой — проповедницы местной общины. Однако надежда Евдокии Михайловны рассеять с ее помощью свои сомнения не сбылась. Девушку удивил далеко не христианский образ жизни проповедницы. Для получения пенсии ей не хватало шести месяцев стажа, однако о работе она и не думала. Жила со взрослой дочерью на средства верующих, заставляя их не только ремонтировать свою квартиру, но и убирать ее, что вызывало раздражение даже у покорных «братьев» и «сестер». Евдокию Михайловну все это сильно поразило.

— Потом-то, когда я задумалась, вспомнила немало подобных случаев. А тогда меня как водой холодной облили.

Между тем дочь Тафинцевой подобрала ключи к чемодану Евдокии Михайловны и стала тайком надевать ее вещи, брать у нее продукты.

Как же так, недоумевала Сидоренко, ведь сказано же: «Не укради»?

Нет, ей не жалко было ни вещей, ни продуктов. Когда у нее была возможность, она всегда делилась с Тафинцевыми. Но на свою скромную зарплату Евдокия Михайловна не могла прокормить троих. В соз-

нании Сидоренко появились как бы два несогласных между собой человека. Один спрашивал: «Почему я, инвалид, должна кормить и одевать взрослую здоровую дочь Тафинцевой, не желающую работать? Ведь бог велел всем трудиться». А второй убеждал: «Не ропщи и не суди!»

Происходящее было настолько дико для Сидоренко, что она приняла его как испытание веры. Но испытание явно затягивалось. А вскоре произошел и еще один случай.

— Я еще училась в техникуме, когда в красноярскую общину приехал уполномоченный союза баптистов по Сибири и Приморскому краю Раевский. В одной из проповедей он сказал, что посещение кино не грех, что он сам ходит в кино. Раевский задел наше больное место. Местные руководители запрещали нам вступать в профсоюз, не разрешали ходить в кино, театр, на танцы, в библиотеки, жениться или выходить замуж за неверующих. Но ведь сказано в Библии: «Все испытывайте, хорошего держитесь». А на вопрос одного юноши, должен ли верующий служить в Советской Армии, Раевский ответил: «Не только должен, обязан. Это твой долг перед Родиной».

Ответ Раевского пришелся не по душе краевому пресвитеру Майбороде. Он сказал:

— Я бы тебе, Павлик, посоветовал от этого воздержаться.

Надо отметить, что в баптистской общине последнее слово остается за местным пресвитером — пастырем «стада Христова».

После отъезда Раевского местные проповедники стали распространять слухи, что он иуда.

— А что же верующие? — спросил я Евдокию Михайловну.

— К стыду своему, мы тогда поверили в это.

А через некоторое время Майборода был арестован и осужден за сотрудничество с гестаповцами во время войны.

— Какое это произвело впечатление на общину?

— В наших глазах он был мучеником и страдальцем за веру. Но однажды пресвитер Торопов сказал нам суровую истину: «Дорогие братья и сестры! Не молитесь за Майбороду. Он арестован не за веру, он преступник!»

— А что же верующие?

— Моя вера была слишком сильна. Мы убеждали себя в том, что, когда Майборода сотрудничал с гестаповцами, он еще не был верующим...

И вот уже в Чите, разглядывая фотографии, которые привезла туда Сидоренко, две женщины узнали на одной из них Майбороду. Оказалось, что они еще до войны были в одной общине, но с сорок первого года ничего о нем не слышали. Значит, Майборода был верующим, когда сотрудничал с гестапо! Это потрясло Сидоренко. Она написала об этом в красноярскую общину.

Вопреки обыкновению, ответа на свое письмо она не получила. Более того, переписка ее с красноярской общиной на этом оборвалась. Впрочем, ей было уже не до того. Евдокию Михайловну обокрали, и не кто иной, как сама Тафинцева!

В общине поднялся переполох. Одни настаивали, чтобы Сидоренко обратилась в суд, другие, хотя и осуждали Тафинцеву, предпочитали держаться в стороне, а пресвитер — Никифор Прокофьевич Балецкий — предложил верующим собрать деньги и вернуть Евдокии Михайловне стоимость украденного. Сидоренко конечно же отказалась. А Тафинцева? Она читала проповеди как ни в чем не бывало.

— В Библии сказано: уважайте трудящихся у вас, то есть проповедников. Но за что, за что, думала я, уважать таких, как Тафинцева или Майборода? По закону Моисея их надо было побить камнями.

Теперь, когда доверие к пастырям рухнуло, память услужливо подавала ей один факт за другим. Она вспомнила Сидилеву, жившую с дочерью на средства верующих. Вспомнила, как слепая мать топила Сидилевой баню, как другие верующие стирали ей белье, кололи дрова, возили из тайги сено, приносили продукты и деньги на поездки к «братьям», отдавали собственную одежду. Вспомнила, как в Ачинске узнала, что Сидилева и местный проповедник Клесов уличены в прелюбодеянии. Так вот на какие поездки собирали верующие свои трудовые рубли! Тогда Сидилева заставила ее молчать. И она молчала, чтобы не оттолкнуть верующих от бога. Пороки загонялись вглубь. «Не хотим видеть, не видим, а раз не видим, значит, их нет» — так примерно рассуждали большин-

ство верующих. «Так где же она, истина?» — недоумевала Сидоренко. Сказано: «Не укради», но крадут! Сказано: «Не прелюбодействуй», но прелюбодействуют. Сказано: «Испытывайте все, держитесь хорошего», но пытаются все запретить! И бог допускает это? Где же тогда справедливость, где добро? Выходит, что нет у баптистов ни того, ни другого?

В 1952 году Евдокия Михайловна, больная физически, в духовном разладе с собой, вернулась на родину, в Хакассию. Орджоникидзевская группа, которой попрежнему руководила Сидилева, исповедовала уже пятидесятничество. Обескураженная Сидоренко, чтобы не остаться одной, примкнула к ним.

Нет, в бога она верила так же истово и убежденно. Но уже не верила ни проповедникам, ни пресвитерам. Да и само пятидесятничество внушало ей сильное сомнение в своей истинности. Она пыталась поделиться своими мыслями с рядовыми верующими, но ее не понимали, сторонились.

Начались длительные посты, когда по нескольку дней верующие ничего не ели и не пили. Мужчины и женщины исступленно молились, с плачем били себя в грудь, тряслись, словно в лихорадке, ожидая, что вот-вот на них снизойдет святой дух. Напряжение разрешалось выкриками, бессвязным бормотанием, стонами, рыданиями, что и считалось говорением на иных языках. У людей начинались галлюцинации.

— Ни изнурительные посты, ни коллективные моления пятидесятников, ни длительные молитвы наедине не принесли мне ни духовного, ни физического исцеления,— вспоминает Евдокия Михайловна.— А некоторые действия казались мне просто-напросто дикими. В деревне Ракитов Ключ Идринского района местной пророчице было откровение: всем верующим необходимо сжечь имущество, чтобы оно не досталось сатане, ибо через три дня всю общину призовет бог. И восемнадцать семей пятидесятников сожгли свое имущество, оставив лишь то, что было на них. Прошло три дня, неделя, месяц, но конечно же бог никого никуда не призвал.

Эта трагедия доверчивых людей сильно повлияла на Евдокию Михайловну.

— Я уже двенадцать лет исповедовала сначала баптизм, потом пятидесятничество. Мне было почти

тридцать. Под ногами никакой опоры, жизнь несет, словно щепку по течению, прибивая то к одному берегу, то к другому. Я чувствовала себя разбитой физически и опустошенной духовно. За это время я не прочла ни одной светской книги, не посмотрела ни одного фильма.

В 1956 году бывшие единоверцы Сидоренко перешли в новое вероучение — стали свидетелями Иеговы. Ее тоже пытались обратить в очередную «истинную» веру, но она была до того измучена, что попросила оставить ее в покое. Тогда к ней направили опытного «ловца душ человеческих», Марию Николаевну Лисик. Перед встречей с Сидоренко Лисик подробно расспросила бывших единоверцев о ее характере, убеждениях и сомнениях.

К этому времени Евдокия Михайловна ушла от пятидесятников и осталась наедине с собой и с осколками своих, когда-то столь дорогих, а теперь рассыпавшихся истин. Если бы ее спросили тогда, какую веру она исповедует, она вряд ли смогла бы ответить определенно. В лучшем случае назвала бы себя христианкой. Да и бог уже был для нее неким абстрактным понятием, в котором сосредоточилось ее представление о справедливости, истине, добре, любви, короче, о тех необходимейших свойствах, без которых жизнь теряет свой смысл. Она уже слишком хорошо знала Библию, многие ее несоответствия и противоречия, слишком много слышала ее толкований — простодушных, казуистических, лукавых, аллегорических и других, чтобы не понимать, что эта «священная» книга создана отнюдь не по наитию святого духа.

Неприметно, монотонно и серо шли день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Отгороженная от всего мира, замкнутая, настороженно относящаяся и к реальной жизни, и к проповедям «братьев» и «сестер» по вере, Сидоренко разнообразила свое существование только привычными молитвами и постами, да еще неотступными, навязчивыми размышлениями о жизни и вере. Но где-то в дальнем углу ее опустошенной, изболевшейся души еще тлела искра прежней надежды, что однажды что-то произойдет, что все враз переменится — и тогда она вновь постигнет смысл этой жизни (в небесную она уже не верила), вновь обретет свои утраченные истины. И потому после нескольких

как бы случайных встреч с Лисик Сидоренко неожиданно для себя потянулась к ней. Потекли долгие беседы, чтение Библии. Евдокию Михайловну поразило, что Лисик сразу же согласилась с тем, что земля вечна, что нет никакого небесного рая. Правда, Лисик считала, что рай будет на земле — в нем-то и будут обитать праведники. Для Сидоренко это было неожиданно. Отвергнув рай небесный, она не мыслила его и на земле. Ответы Лисик на вопросы о противоречиях Библии показались ей не очень убедительными. Но это имело сейчас для нее второстепенное значение. Ей показалось, что она вновь обрела опору в жизни.

Евдокия Михайловна быстро разобралась в особенностях вероучения свидетелей Иеговы. Вскоре ее назначили «слугой» (руководителем) кружка. Помимо изучения с рядовыми верующими Библии и религиозной литературы ей приходилось теперь вечерами и ночами размножать эту литературу, переписывая ее от руки.

Но нет, не нашла Сидоренко утраченных истин у свидетелей Иеговы. С жалостью смотрела она на верующих, всерьез воспринимавших наставления и пояснения своих пастырей. Сами же «слуги» все больше вызывали у нее недоверие. Встречаясь со своими руководителями, Сидоренко не раз отмечала про себя, что они, как правило, люди начитанные. Однако рядовым верующим и даже Евдокии Михайловне они внушали, что чтение любой светской литературы — большой грех. Но если руководители не боятся этого греха, то почему должна бояться она?

Так к Евдокии Михайловне попала книга «Правда о религии». К своему удивлению, она нашла в ней простые и ясные ответы на свои вопросы и сомнения, которые не могли разрешить ни баптисты, ни пятидесятники, ни свидетели Иеговы. В конце книги была просьба присылать отзывы в издательство. Сидоренко написала короткое письмо, сообщив, что она верующая, и попросила помочь достать атеистическую литературу. Ей ответили теплым письмом, прислали адреса магазинов «Книга — почтой». Вскоре из Москвы и Ленинграда Евдокия Михайловна получила шесть посылок с литературой, выписала журналы.

Руководители свидетелей Иеговы почувствовали, что она ослабила свою миссионерскую деятельность.

К ней направляли курьеров с приказом уйти с работы. Она отказалась. Три месяца жил у нее специальный уполномоченный, пытаясь укрепить ее в вере. От нее вновь потребовали уйти с работы. Она опять отказалась и написала руководителям письмо о своем разрыве со свидетелями Иеговы. Ее уговаривали, пугали, к ней вновь и вновь направляли людей. Но она не отступала. Это был не каприз, не жест, не обида. Это было отречение! 15 лет искала она в религиозных учениях истину, добро, справедливость. Искала и не нашла. Потому что они — истины бытия — открываются в реальной, земной жизни. В каждом ее дне, терпком и радостном. В каждом часе. Так считает теперь Евдокия Михайловна Сидоренко.

Сейчас она живет в селе Боград — одном из районных центров Хакасской автономной области. Работает, как и прежде, в отделе финансов райисполкома. Попрежнему по вечерам любит раскрыть Библию, перечитать тот или иной отрывок. Но теперь рядом с Библией стоят Юм и Гельвеций, Кант и Фейербах, Гегель и Вольтер, Маркс, Энгельс, Ленин, Луначарский... Евдокия Михайловна старается наверстать упущенное. Ее искренние, взволнованные слова звучат со страниц областных и краевых газет, с трибун атеистических конференций и семинаров. Звучат как исповедь, как раскаяние, как предостережение тем, кто хочет найти в религии трудные истины бытия.

ОДИССЕЯ ВИКТОРА ГАРБУЗОВА

Слово «бог» врезалось в детское сознание Виктора в июле 1941 года, когда в их родной городок Рославль Смоленской области пришла война. Он стоял в очереди за хлебом, когда взвыла сирена. Звенели разбитые стекла, что-то рушилось, вздрагивала земля. И среди этого грохота и звона, среди стонов и проклятий кто-то звал бога. Звал исступленно, отчаянно, заглушая другие голоса...

Отца Виктор помнил плохо. Отец умер, осиротив пятерых ребятишек, когда Виктору было около пяти лет. Через несколько дней после прихода гитлеровцев старший из братьев Гарбузовых ушел к партизанам. Многие в городе об этом догадывались, а то, что известно многим, не могло долго оставаться секретом и для новых властей. Вот и решили Гарбузовы перебраться в деревню. Здесь Виктор приобщился к нелегкой крестьянской работе. Здесь впервые столкнулся и с верующими — родственники, у которых остановилась семья, были баптистами.

От той поры навсегда врезались в его память слезы на горестных женских лицах да то смиренные, а то неистовые упования родственников и их единоверцев на бога.

Впрочем, о боге говорили разное. Одни считали, что не допустит он поругания земли русской, другие возражали, что война есть не что иное, как кара свыше за грехи и забвение веры.

Мать на всякий случай со всеми соглашалась, не умея, да, наверное, и не желая разбираться в существе спора... В бога она не то чтобы не верила, но и не решалась отрицать его существование. Да и как тут будешь отрицать, когда осталась одна с пятью недо-

ростками на руках, а тут еще и война, и старший в партизанах, и голод, от которого одно спасение — у верующих родственников в деревне. Виктор же о боге тогда особенно не задумывался.

После того как фашистов изгнали, Виктор окончил четыре класса, затем железнодорожное училище. В семье росли и учились еще трое ребятишек, и его получки стали весомым подспорьем, а вскоре главной опорой.

Суровое военное детство оставило в его душе и в характере свой след. Мало выпало на его долю игр и забав, веселья и ласки. После того как старший Гарбузов ушел к партизанам, а затем на фронт, где и остался навсегда в одной из бесчисленных братских могил, стал Виктор в семье и за мужика и за хозяина.

И хотя в деревне в ту пору это было делом обычным, особенно в многодетных семьях, жалостливо поглядывали бабы на таких ребятишек и, подмечая в них чутким женским сердцем непреходящую день ото дня усталость, не по возрасту снисходительное отношение к детским играм и стремление все решать самим и за все самим держать ответ, тяжело вздыхали, словно наперед предвидели их нелегкие судьбы. Жизнь многих из них действительно складывалась трудно. Война не только осиротила их, не только легла на их плечи тяжким грузом ответственности и забот, но и украла у них детское, легкое и радостное восприятие мира.

В характере Виктора военное детство отложилось некоторой неторопливостью в суждениях и поступках. Решив что-либо или поставив перед собой какую-нибудь цель, Виктор стоял на своем твердо и неуступчиво. Однако непреклонный и бескомпромиссный внешне, Виктор далеко не всегда был уверен в своих силах, в своих решениях. Словно пытаясь наверстать упущенное в детстве, он, чем больше взрослел, тем сильнее тянулся к жизни, и во всяком деле искал его скрытую сущность, его «душу». Потянуло к музыке — пошел в самодеятельность, изо дня в день тренировал голос и еще в училище стал солистом, занимал первые места на областных смотрах. Ему прочили будущее певца, но он увлекся танцем. И опять — упорный труд.

Комсомольско-молодежная бригада, которую возглавил Виктор, получала одну благодарность за дру-

гой. О ней писали и в районной, и в областной газетах.

Ребята работали и жили весело, стремительно, взахлеб. Дети военной поры стремились наверстать упущенное. Одни засели за книги и за учебники, каждую свободную от работы и домашних дел минуту посвящая учебе, познанию мира, а другие, как Виктор, пели, танцевали в клубах и на вечеринках, бегали в кино, со вкусом потягивали пиво у ларьков. Жизнь распахивалась перед ними, жизнь, уже почти совсем взрослая, манила их, рано, не по своей вине повзрослевших.

Теперь, оглядываясь на свою юность сквозь прожитое и пережитое, Виктор Иванович говорит:

— Читал бы я тогда побольше, учился бы — может, и не пошла бы жизнь юзом...

А беда — она ходила рядом, по тем же улицам Рославля. Звали ее Галиной. Влюбился Виктор прочно... и безнадежно. Но это тоже отзовется потом, а тогда ушел он в армию, озаренный своей любовью, о которой так и не сумел сказать Галине.

Виктора направили в школу младших авиационных специалистов. Вот когда он почувствовал, что не хватает знаний! Окончил ШМАС, добился направления еще в одну школу. Учился от первого до последнего года службы, забывая про увольнения.

Когда вернулся из армии, Галина уже окончила педагогический институт. И вновь не сумел подойти к ней, сказать то, что томило сердце. И оттого постепенно уходил в себя, замыкался, выкладываясь неистово на работе, задерживаясь допоздна, лишь бы забыться.

Прежняя жизнь, стремительная и бесшабашная, уже не влекла его. А какой-то новой Виктор не находил. Да и что он мог найти, если всегда и везде преследовало его горькое чувство неразделенной любви. Как подойти к Галине, что сказать ей, Виктор не знал. Все больше теряя уверенность в себе, он становился в отношениях с окружающими резче, категоричнее и, ловя себя на этом, еще сильнее замыкался в себе...

Умная, наблюдательная Марфа Марковна Пантюхова поселилась у Гарбузовых на квартире. Для нее, опытной проповедницы, обратившей в свою веру немало людей, искренний, бесхитростный Виктор тоже не был загадкой. Рассудительные беседы о жизни ув-

лекали его, помогали уйти от самого себя. Постепенно разговоры так же рассудительно коснулись религии. Виктору невольно вспомнилось военное детство. Марфа Марковна сочувственно поддакивала, вспоминала свою жизнь в то время. Потом появился роман английского писателя и религиозного проповедника XVII века Джона Беньяна «Путешествие пилигрима в небесную страну». Книга заинтересовала Виктора. Однако привычное отношение к религии как к чему-то весьма наивному, сформировавшееся в нем незаметно для него самого, восставало против доводов и рассуждений Марфы Марковны. Привычное отношение к религии восставало, но было оно домом, построенным на песке: что Виктор мог возразить ей, опытной проповеднице? Это себе он казался тогда человеком, умудренным жизнью. Для Пантюховой же он был чистым листом бумаги, на котором ей предстояло начертить имя божье. Она видела, что Виктор мается, подсознательно ищет, чем избыть свою беду. Надо было только кинуть ему подходящий довод, а дальше... дальше он сам ухватится за веру...

Когда Виктор по приглашению Пантюховой впервые пришел на собрание баптистов, молитвенный дом пробудил в нем лишь легкое любопытство, а собравшиеся, в основном старики и старухи,— снисходительную жалость. Пение хора Виктору не то чтобы понравилось, но было чем-то созвучно его настроению. К молитвам отнесся безучастно: молятся люди — ну и пусть себе, это их дело. Но первая же проповедь вызвала раздражение. Проповедник, пытаясь связать библейские тексты с жизнью, приводил примеры маловразумительные, неубедительные. Остальные выступали не лучше, и Виктор разозлился и на себя, что поддался уговорам Пантюховой, и на Марфу Марковну, затащившую его сюда. Едва молитвенное собрание окончилось, он протиснулся к кафедре и стал задавать проповедникам каверзные, с его точки зрения, вопросы. «Братья» бросились в спор...

Потом, когда Виктор уже сам стал руководителем общины, ему много раз доводилось видеть, как молодые ребята, имевшие о религии лишь смутное представление, очертя голову вступали в спор с опытными, искушенными в дискуссиях проповедниками. Исход подобных споров был предрешен. Проповедники и прес-

витеры никогда не ввязывались при верующих в полемику с серьезным противником. Если же уклониться от дискуссии было нельзя, ее оттягивали, усиленно убеждали верующих разойтись по домам. А когда проповедники были уверены в своем превосходстве, то спор разгорался сразу же, чтобы возможно больше верующих лишний раз убедились в торжестве божественной истины.

Нечто подобное произошло и с Виктором. Он был убежден, что бога нет и нет никаких сверхъестественных сил, и сильно удивился бы, если бы ему сказали, что эта его уверенность, не подкрепленная соответствующими знаниями, остается еще бездумной верой. Начав спор с проповедниками, он отстаивал не научные взгляды перед религиозными, как это ему казалось, а свою собственную веру в науку перед их верой в бога.

Все вопросы и аргументы, которые Виктор запальчиво бросал проповедникам и которые, по его мнению, должны были привести их в замешательство, были давно известны не только им, но и большинству членов общины не хуже, чем Виктору — таблица умножения. Более того, ответы на них часто разбирались в проповедях и в беседах верующих между собой. И потому Виктор даже не заметил, как поменялся с проповедниками ролями, и теперь уже они нападали на его веру в науку, а он оборонялся. Виктор сразу обнаружил, что ему не хватает знаний, что он ничего не может ни объяснить, ни доказать.

Домой он вернулся злой и растерянный. Конечно, проповедники не смогли убедить его в существовании бога, но зато произвели настоящий погром в его представлениях о всемогуществе науки, а главное, в его уверенности в себе. И он решил во что бы то ни стало во всем разобраться сам.

Сначала он обратился к научно-популярной литературе, посвященной таким явлениям природы, как грозы, молнии, гром, смерчи, извержения вулканов, цунами, землетрясения. Все в этих брошюрах казалось ему простым и убедительным. Основательно проштудировав их, Виктор решил проверить свои познания на Пантюховой. Та выслушала его объяснения внимательно и спокойно и начала задавать вопросы, в которых Виктор тут же запутался. Верующего челове-

ка, как убедился Виктор, больше всего интересовало не *как* происходит то или иное явление, а *почему* и *зачем.* Познаний же Виктора едва хватало лишь на то, чтобы ответить на первые два вопроса, да и то не всегда. Третий вопрос неизменно ставил его в тупик. Ну как мог он объяснить, например, почему одноименные электрические заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются? А тем более — зачем? Он знал, что это именно так, что это установленный наукой факт, а почему и зачем — этого ему не объясняли и сам он над этим никогда не задумывался.

И некому было сказать Виктору, что вопрос «зачем?» неприменим к явлениям и законам природы, что перенесение его на явления и законы природы означает не что иное, как признание некоей цели, заранее поставленной перед природой, по сути дела — признание ее сверхъестественного творца и руководителя.

Пантюхова же, когда он задавал эти вопросы ей, степенно отвечала, что все в мире устроено по воле и разумению господа и земное предназначение человека заключается не в том, чтобы постигать непостижимое, а в том, чтобы, выполняя заповеди божьи, смиряя плоть и укрепляя дух, стремиться к единению с господом и к проповеди слова его.

Виктор взялся за специальную литературу. Но едва он полез в глубь вещей, как тут же запутался. Специальная литература оказалась Виктору не по плечу. То и дело приходилось браться за энциклопедию в поисках разъяснения того или иного термина или символа, а попытка понять некоторые из них приводила к необходимости изучения целых научных дисциплин. Виктор забросил все. Спал урывками, в изнеможении бросаясь в постель лишь на рассвете. Да и на работе, во время перекуров и обеда, не отрывался от книг. О своей любви он теперь думал редко и старался тут же пересилить себя...

Через несколько месяцев он вновь поехал в общину и, выбрав одного из проповедников помоложе, стал с ним беседовать, приводя заранее обдуманные аргументы. Но проповедник своими «почему?» и «зачем?» заставил его опять лезть в глубь вещей, пока Виктор снова не запутался.

— Вот видишь, брат,— сказал проповедник,— наука многого не знает, да и знать не может, ибо пости-

гает лишь то, что ей позволяет постигнуть бог. И только несведущие люди могут утверждать, что наука опровергает божественное устройство мира и само бытие божье. Как же она может это опровергать, если сама наука — дар божий и первыми учеными были Адам и Ева, вкусившие от древа познания? И как же может наука опровергать бытие божье, если даже ученые, люди, которые и создают науку, верят в бога? Конечно, и среди ученых есть безбожники, но это их заблуждение. Да и как ты себе представляешь, чтобы что-то возникло из ничего, а тем более Вселенная и люди? Ты же сам говоришь, что во всем есть своя причина. Вот и ответь мне, в чем причина Вселенной?

— А в чем причина бога?

— В нем самом. Бог всегда был, есть и пребудет во веки веков.

— И причина Вселенной в ней самой.

— Какая?

— Этого наука еще не знает. Но если ты допускаешь, что бог всегда был и всегда будет, почему ты не допускаешь, что Вселенная всегда была и всегда будет?

— Потому, что, во-первых, сами ученые говорят иначе. А во-вторых, потому, что хочу быть не в пример тебе последовательным, а для этого должен найти материальную причину для объяснения материального возникновения мира, а такой причины нет.

— Но и причины бога тоже нет!

— Материальной! Но бог-то нематериален, он есть дух святой. И поскольку он понятие не материалистическое, то и не требует материалистической причины. Так или нет?

— Ну... по логике вроде так...

— А если так, то не логичнее ли объяснить создание мира божественным творением, чем материалистическим возникновением, для которого нет даже материалистической причины?

Согласиться с выводом проповедника Виктор не мог. Что-либо противопоставить тоже...

И опять некому было объяснить Виктору, что если уж пользоваться логикой, то существуют четкие логические опровержения доказательств существования бога. Но в том-то и сложность дискуссий с верующими, что если бы Виктор в ответ на логические построения

проповедника воспользовался этими опровержениями, то проповедник тут же заявил бы, что логикой постигнуть божественную истину невозможно, что человеческий разум жалок и ничтожен перед высшими истинами и что сущность бога можно постичь лишь верой и молитвами, превратив душу свою в обитель Христову.

Если бы Виктор все это знал, он, наверное, спросил бы проповедника, зачем тот, зная, что логикой нельзя постичь бытие божье, именно логикой пытался его обосновать. И заметил бы, что такой метод — признавать логику, когда она подкрепляет твои позиции, и отрицать, когда она их опровергает,— свидетельствует о бездоказательности этих позиций.

Между тем в науке Виктор запутался окончательно, что, впрочем, и немудрено, если учесть, что подготовка у него была слабая и никакой системы и руководства в его попытке овладеть большой наукой не было.

К тому же слова проповедника о том, что такие великие ученые, как Коперник, Галилей и Ньютон, верили в бога, сильно смутили его. Получалось, что он, еще совсем не разбирающийся в науке, старается с ее помощью доказать отсутствие бога и всяких высших сил, а корифеи науки, которые ее создавали, верили в бога. Значит, размышлял Виктор, зря я бьюсь над книгами? Значит, наука не опровергает существование бога?

Кстати сказать, после первого посещения молитвенного дома Виктор попросил у Пантюховой Библию. Библию Марфа Марковна дала, но никаких бесед о ней поначалу заводить не стала.

Охладев к былому намерению покорить науку штурмом и несколько разочарованный в ее авторитете, Виктор махнул на все рукой и решил жить, как прежде. Однако жить, как прежде, не получалось — проклятые вопросы не давали покоя, мир стал каким-то зыбким и ненадежным, да и отступившая было тоска неразделенной любви вновь накатила на него. Надо было чем-то занять себя, и Виктор вспомнил о Библии.

Ну хорошо, рассуждал он, допустим, что наука в самом деле не опровергает существование бога. Но уж во всяком случае и не доказывает! А что ученые верили в бога, так ведь неизвестно, что они под богом понимали и во что именно верили. И уж во всяком случае

Библия не святая книга, а самая обыкновенная и тоже не может доказать существование бога...

К тому времени еще одна трансформация произошла в его сознании. К науке Виктор относил лишь естественные и точные дисциплины, и потому наука, по его мнению, не могла ответить на вопросы, в чем смысл и цель человеческой жизни, почему люди умирают, почему бывает безответная любовь, что такое добро и зло и откуда они происходят, что такое судьба и так далее. А ведь всему этому, размышлял он, должно быть какое-то объяснение. К научно-популярным книгам Виктор относился теперь скептически, а в объяснениях Марфы Марковны все хотя и выглядело довольно сомнительно, однако было вполне понятно и каждому вопросу соответствовал свой ответ. Но откуда почерпнула свои ответы Пантюхова, как не из Библии?

И Виктор взялся за Библию.

Он несколько раз внимательно, с карандашом в руках, прочитал ее всю. Это был титанический труд, отнявший у него массу времени и сил. Впрочем, его никто не торопил, и только мать сокрушенно, а братья с некоторым удивлением наблюдали, как все вечера, ночи и выходные просиживал он, подперев голову, над толстенной книгой и что-то писал в общую тетрадь. Впрочем, и мать и братья уже успели привыкнуть к его затворничеству. На работе тоже привыкли к тому, что Виктор стал малоразговорчив, что-то читал во время перекуров либо размышлял о чем-то своем. Марфа Марковна, против обыкновения, разговоров о вере с ним больше не заводила и лишь снисходительно и немногословно разъясняла те или иные места из Библии, вызвавшие у него сомнения.

Прочитав Библию первый раз, Виктор нашел в ней много несуразностей. Но, наученный горьким опытом, не ринулся в спор, а прочитал еще раз и еще. И странное дело, если при первом прочтении Библия предстала ему довольно скучным смешением сказки и действительности, фантазии и истории, то, чем больше он вчитывался и вдумывался в ее содержание и в объяснения Марфы Марковны, тем более убедительными казались ему библейские легенды. Смутное впечатление, оставшееся от первого прочтения, ушло, все прояснилось, формируясь в некую систему взглядов. И Вик-

тор, жаждавший простоты и ясности, подсознательно уже подчинился этой системе.

Он вновь перелистал тетрадку, в которую записывал свои аргументы против существования бога, и они вдруг показались ему наивными и неубедительными, а новых он не находил. Теперь он часто встречался с проповедниками общины и с рядовыми верующими. У него еще не иссяк запас сомнений, и при случае он пускал их в ход, но делал это все реже и реже, потому что неясные образы и притчи из Библии в устах проповедников обретали неожиданный, не замеченный им ранее смысл, и выяснялось, что понимать их надо не буквально, а иносказательно. Так Виктор сделал для себя открытие: помимо буквального текст Библии имеет несколько толкований, и пытаться понять ее, не разобравшись в них, все равно что пытаться прочитать книгу, написанную на незнакомом языке. Теперь ему уже казалось, да и проповедники уверяли его в том же, что если какое-либо утверждение кажется ему противоречащим другому или вызывает сомнение, то происходит это лишь потому, что ему еще не открылся настоящий смысл прочитанного.

Потом, через много лет, изучив Библию во многих ее толкованиях, Виктор еще не раз вернется к ее противоречиям и несуразностям. И только тогда поймет, что правильно оценил ее лишь при первом прочтении.

Между тем, видя, с какой настойчивостью осваивает Виктор Библию, проповедники стали уделять ему особое внимание. По их понятиям, Виктор был человеком образованным и его знания, направленные должным образом, могли сослужить хорошую службу. Была и еще одна надежда, связанная с Гарбузовым. Община состояла в основном из людей пожилых, молодежи было мало. Обращение Виктора могло повлиять на тех девушек из верующих семей, которые колебались между желанием остаться в общине и стремлением обзавестись семьей, на что в общине надежды было мало. С приходом Виктора такая надежда появлялась. Конечно, женится он на одной из них, но некоторое время надеяться выйти замуж за брата по вере может каждая. А вслед за девушками могли потянуться в общину и молодые ребята...

И не стало Виктора Гарбузова — бригадира передовой комсомольско-молодежной бригады. Появился

Виктор — «брат во Христе». При большом стечении верующих возле деревни Кустовка Виктор Гарбузов принял водное крещение.

Эх, как закрутило, как понесло его по жизни! Думал он, что обрел истину во Христе. Ох, трудна, Виктор, будет твоя истина. Многие назовут тебя «братом» и... отрекутся. Многих ты назовешь «братьями» и тоже отречешься. Но это будет потом, а пока... Веруй, брат Виктор, веруй искренне, исступленно и самозабвенно. Веруй и неси на алтарь распятого Христа все, что прежде было тебе дорого. Бог есть любовь, станут говорить тебе пресвитеры... Бог есть любовь, будешь внушать ты верующим. Бог есть любовь... Но какая, брат Виктор, любовь и к кому любовь?

Странная началась у Виктора Гарбузова жизнь. Работал он все в том же цехе, рядом со своими бывшими товарищами. Но работал теперь как бы один, сам по себе. Раньше любая горячность, несправедливость, ошибка пробуждали в нем ответную горячность, отпор, желание помочь или исправить. Теперь же все это вызывало в нем обиду, служило подтверждением несправедливости мирской жизни. Он все дальше удалялся от бывших товарищей, от коллектива, даже от своей работы, которую все еще любил, но которой все больше жертвовал во имя неотложных миссионерских и проповеднических дел. А ему казалось, что это коллектив стал чуждаться его, что все невзлюбили его за веру и стараются чем-нибудь досадить.

Впрочем, такие размышления возникали у него все реже и реже. Он приближался к тому идеалу верующего, который все свое свободное время посвящает молитве, изучению слова божьего и его проповеди, который даже во время работы думает лишь о боге.

Проповеди Виктора нравились верующим, и он решил стать разъездным проповедником. Но для этого надо было бросить работу и разъезжать на средства общин, а делать это Виктор совестился. И трудно сказать, как бы разрешил он для себя это противоречие, если бы его намерения не приняли несколько иной поворот.

О том, что баптизм не единственная вера, он знал давно. Но только став уже верующим, узнал более основательно о пятидесятниках, адвентистах седьмого дня, свидетелях Иеговы и других. Он стал с интересом

вникать в тонкости толкований тех или иных текстов, заветов и обрядностей, старался попасть на диспуты между проповедниками различных учений. Особенно жаркие споры шли у баптистов с пятидесятниками, или, как они сами себя называют, с христианами веры евангельской.

К тому времени Виктор уже достаточно хорошо знал учение баптистов, мог бы и сам вступить в дискуссию с проповедниками других учений, но остерегался делать это, не вникнув хорошенько в их вероучение. С этой-то целью и начал он посещать молитвенные собрания пятидесятников. Однако, вместо того чтобы, изучив пятидесятничество, выступить против него, Виктор стал сомневаться в правоте баптистов и склоняться в полемике то на одну, то на другую сторону. На собрания пятидесятников он ходил все чаще и чаще. И однажды, во время молитвы, ноги у него вдруг подкосились, и он, закрыв лицо руками, упал на колени. Какая-то щемящая тоска скрутила его. Он стоял на коленях и плакал, закрыв руками лицо. Слезы лились из глаз неудержимо. Виктора окружили верующие.

— Поздравляем, брат, поздравляем,— неслось со всех сторон.

— Поздравляю тебя, брат Виктор,— подошел к нему пресвитер.— Много званых, но мало избранных, а тебя господь возвел в их число. Радуйся, брат, и мы радуемся вместе с тобой.

Но «брат» Виктор не радовался. Светлую успокоенность сменил безотчетный страх. Ему хотелось убежать, забиться куда-нибудь в угол, где бы его никто не увидел, и забыться...

Однако этот первый, беспричинный и безотчетный страх вскоре исчез, и Виктор снова пришел к пятидесятникам. Теперь его уже неудержимо тянуло сюда, и эту необъяснимую тягу он счел еще одним указанием свыше. Здесь была его истина, его вера, и когда баптисты стали упрекать его за измену, он ответил им текстом из послания к римлянам: «Открывается правда божия от веры в веру...» — и больше не стал об этом разговаривать.

Потом, спустя много лет, когда я спросил его, почему он ушел от баптистов к пятидесятникам, он надолго задумался, рассеянно выстукивая пальцами дробь на столе, и, словно откуда-то вернувшись, вдруг улыб-

нулся и сказал, что, вернее всего, из-за своего темперамента и фанатичности.

— В баптизме для меня тайн не было. А я стремился как можно лучше постичь и Библию, и слово божие, и саму сущность бога, стремился служить ему ревностно и верно. К тому же я давно уже вел очень напряженную жизнь: спал по нескольку часов в сутки, на работе полностью выкладывался, чтобы как можно больше заработать и как-то компенсировать частые отлучки, а после работы либо мчался в общины, либо ночи напролет читал Библию и готовился к проповедям. Короче, к моменту перехода к пятидесятникам я был уже на грани физического и нервного истощения. И поэтому упор в проповедях пятидесятников на дары святого духа и пророчества показался мне привлекательным. Теперь-то я понимаю, что мое рыдание в молитвенном собрании было просто нервным срывом. Теперь-то я знаю, как готовятся пророчества и почему они часто сбываются, а тогда все это меня потрясло. Я и боялся совсем уйти к пятидесятникам, и рвался к ним, к их неистовым молитвам, к их «осененности святым духом». В моих глазах верующие, получившие крещение святым духом, были подобны апостолам Христа...

В общине пятидесятников обращение Гарбузова, баптистского проповедника, считали крупной удачей. Такое и впрямь случалось крайне редко, хотя пополнялись ряды пятидесятников в основном именно за счет баптистов и евангельских христиан, так как и православных верующих, и колеблющихся в вере фанатизм пятидесятников обычно отпугивал.

Ближе сойдясь с новыми единоверцами, Виктор стал бывать в разных общинах. Несколько раз посетил он и общину Починковского района — одну из самых слабых в Смоленской области. Община постепенно распадалась, верующие, за редким исключением, были немощны и далеко рассеяны друг от друга. Притока свежих, энергичных людей давно уже не было, и, после того как община лишилась еще и пресвитера, она совсем пришла в упадок. На ее укрепление и решили направить руководители пятидесятников молодого, энергичного Виктора Гарбузова. А потому в один из очередных приездов Виктора община начала поститься и молилась, чтобы господь указал достойного и угодного

ему пресвитера. Так продолжалось несколько дней, пока сначала одна пророчица, а потом и другие не получили откровение свыше, что пресвитером должен стать именно Виктор Гарбузов.

Потом, через два с лишним десятка лет, вспоминая летний вечер в городе Мосты Гродненской области и тихую реку, где пресвитер Павел Павлович Пицевич в присутствии трех или четырех верующих крестил его и рукоположил в пресвитеры, он скажет мне, что чувствовал в тот момент неизъяснимое волнение, и добавит, улыбнувшись:

— Что же тут странного? Ведь я готовился, ждал и, конечно, это не могло не сказаться...

К тому времени он стал столярничать по вечерам на дому: деятельность руководителя общины и активного проповедника требовала немалых средств на разъезды. Теперь его образ жизни полностью соответствовал его представлениям о земной жизни истинного христианина.

Нельзя сказать, что на работе за него не беспокоились. С ним пытались беседовать, старались образумить. Но было поздно. Аргументы и доводы, которые еще год назад могли заставить его задуматься, теперь казались ему наивными. Он с удовольствием высмеивал людей, желавших ему добра, хлестал их в споре цитатами из Библии и ставил в тупик изощренной софистикой, приемам которой обучился в дискуссиях с инаковерующими.

Но было в его ожесточении и еще нечто, куда более серьезное. Став верующим, он разделил людей на три категории — на братьев и сестер по вере, на неистинно верующих и на заблудших, грешников, прислужников Сатаны. И если с теми, кто верил «неправильно», нужно было вести диспуты, увещевать их и наставлять на путь истинной веры, то с заблудшими и прислужниками Сатаны у него теперь не было и не могло быть никаких связей, кроме проповеди им слова божьего. Это они, книжники и фарисеи, распяли Христа, гнали и били камнями апостолов, праведников и пророков, это о них предупреждал Христос, сказав: «Будете ненавидимы всеми за имя мое».

Вскоре ему сообщили, что настало время принять величайший дар господен — крещение святым духом. Для наставления и укрепления в вере Виктору дали

духовного наставника — старца Дениса Моисеевича. Дабы смирить плоть и укрепить дух, Виктор начал поститься, а три последних дня вообще ничего не ел, лишь время от времени подкрепляясь глотком воды.

И вот наступил день испытания. Изможденный постом, молитвами и затворничеством, Виктор вместе со своим наставником приехал в Починковский район. Весь день молились. Может быть, Виктору показалось, а возможно, действительно молитвенное собрание проходило в более быстром темпе, чем обычно. Проповеди были короче, чем всегда, но более страстны.

Виктор молился, отдавшись общему порыву. И вот какая-то сладостная и щемящая волна подхватила и понесла его, крутя и покачивая, все быстрее и быстрее. Он сбросил пиджак, колени горели, пот бежал по лицу и щипал глаза, а он, опершись ладонями о пол, дергаясь, выкрикивал неосмысленные слова. Разум не мог угнаться за ними, да и не было уже разума, не было тела, а был порыв куда-то вверх, туда, к богу, всеми своими силами, всем своим существом, туда, вверх, туда... Во рту пересохло, распухший язык еле ворочался, руки не выдержали, и он упал на локти...

— Крести! Дай! Излей!..

Кто-то поддерживал его, кто-то обтирал лицо, все тело его дергалось, но он ничего не замечал...

— Излей! Крести! Дай!..

Он уже еле слышал свой голос, да и его ли или чей-то чужой? Язык давно не повиновался ему, и вместо слов изо рта вырывались лишь бессвязные звуки...

Когда он очнулся, то увидел мокрую скамью и окруживших его верующих. Рубашка на нем тоже была мокрая...

Так Виктор Гарбузов принял крещение святым духом и, получив дар «иноговорения», стал для верующих гласом божьим, ибо, как они считали, через него во время молитв говорил господь на иных языках...

Через некоторое время имя Виктора Гарбузова, руководителя общины, станет известным сначала на Смоленщине, а затем и в общинах других областей. Он женится на сестре по вере, станет изучать книги по психологии и психиатрии, отбирая в них то, что может пригодиться для воздействия на верующих. Он освоит методы внушения и даже добьется кое-каких результатов в гипнозе.

Как известно, в пятидесятничестве тоже есть свои течения, и Гарбузову пришлось активно участвовать в религиозных дискуссиях между руководителями отдельных общин и течений, между пятидесятниками и баптистами, пятидесятниками и адвентистами... Он научится вести спор так, чтобы не попадаться в расставленные противником ловушки, а наоборот, его загонять в ловушки. Его споры с проповедниками и пресвитерами, с людьми, знающими Библию наизусть, часто бывали довольно злобными. За каждый промах Виктора больно били по нервам. Бил и он. В поездках по ближним и дальним общинам, по селам и городам, в спорах с противниками и в беседах с единомышленниками много узнал он неприглядного о делах и поступках божьих пастырей. Но смутит ли это его, вызовет ли какие-то сомнения? Нет. Что ж, рассудит он, верующие идут к богу, Сатана искушает их, а человек слаб. Но грешат-то они, а не бог, вот они-то перед богом и ответят за свои грехи.

Виктор стал весьма жестким руководителем общины, убеждая и заставляя верующих неукоснительно выполнять все требования и установления.

— Христос за грехи наши пошел на распятие, и мы во имя его, если надо, должны повторить его путь! — отвечал он верующим, которые указывали ему на его ортодоксальность. Жесткий в вопросах веры по отношению к другим, он был таким же и в требовательности к себе.

Тем временем бурная деятельность Виктора не могла не привлечь к себе внимания общественности, а его требовательность к неукоснительному выполнению пятидесятниками самых ортодоксальных установлений, не могла не прийти в столкновение с законами общества. Виктора пытались остановить, с ним беседовали, но все было напрасно. В доводы он уже не вслушивался.

— Господь посылает меня благовествовать о царствии божьем,— отвечал им Виктор,— ибо сказано в священном писании: «Поведут вас к правителям и царям... для свидетельства...»

Не всем удавалось сдержать себя во время этих бесед. Некоторые срывались, говорили, что ему на все и на всех наплевать, что он и Родину может предать ради своего бога. В таких случаях Виктор зеленел от

бешенства, но всякий раз сдерживал себя и отвечал, что за Родину он готов положить свою жизнь так же, как за веру. И это было правдой.

Среди духовных пастырей, с которыми ему приходилось сталкиваться, были разные люди. Попадались и такие, кому религия служила лишь удобной формой для выражения ненависти к той стране, где они жили, к тому обществу, которое помогло им вырасти и стать на ноги. Виктор их не любил, обрывал, если они пытались найти в нем единомышленника, и при случае обличал беспощадно. И при всем при том жестко вел свою линию на неукоснительное предпочтение требований веры требованиям общественной жизни.

В печати стали появляться статьи, в которых рассказывалось о жизненных трагедиях верующих из общин пятидесятников, о нарушениях их руководителями не только норм общественной жизни, но и советского законодательства, и ставился вопрос о привлечении руководителей общин к ответственности перед обществом и законом. Вместе с другими упоминался и Виктор Гарбузов.

А что же Виктор? Он был убежден, что поступает согласно требованиям веры и потому ответствен лишь перед богом да братьями и сестрами по вере. А если, мол, осудят, то сказано ведь: гонимы будете за имя мое.

Виктора вызвали к следователю. Гарбузов ожидал обычного разговора о вере, какие множество раз вели с ним самые разные люди. В такой ситуации он уже привык быть если не атакующей стороной, то, как минимум, равной. Но разговор сразу же принял иной характер. Следователя не интересовали тонкости толкования Библии и объяснение ее противоречий, отношение пятидесятников к достижениям науки и нравственным проблемам. Он оперировал только фактами — числами, событиями, фамилиями. Он спрашивал, Виктор отвечал. Поскольку ложь Гарбузов презирал, то подавляющее большинство фактов подтвердил. Да, вел религиозную пропаганду в неположенных местах. Да, детей насильно не пускали в школу, заставляли учить Библию, изнуряли постами и молитвами. Да, бывало, что люди вследствие нервного перенапряжения, вызванного многодневными постами и многочасовыми молитвами на «ревнительных собраниях», пред-

шествовавших крещению духом, попадали в психиатрические больницы. Да, юноши отказывались служить в армии. Признает ли, что руководил этими действиями верующих, требовал их выполнения? Да, признает...

Впервые за долгие годы Виктор ощутил неуверенность в своей правоте. Вернее, он был уверен, что поступал правильно, именно так, как того требовали вера и священное писание. Но никогда еще судьбы людей, которых он вел за собой по тропе веры, не представали перед ним в таком освещении. Никогда ранее не задумывался он над тем, что несет каждому конкретному верующему. Его цель была выше, ярче, его целью была вера.

Конечно же он знал о большинстве фактов, которые приводил ему следователь, но каждый из них воспринимал либо как жертву со стороны этого, конкретного верующего во имя высшей истины, во имя творца и спасителя, либо как знамение избранности этого верующего, ибо бог кого любит, того и наказывает. Он и сам, Виктор, принес немало жертв на алтарь бога и немало вынес его наказаний. И лишь в кабинете следователя, когда за час или за два перед ним прошла целая вереница человеческих трагедий, он вдруг почувствовал неясную вину перед своими единоверцами за то, что привел их к такому столкновению с действительностью.

Иногда следователь приводил такие факты, которых Виктор не знал либо не имел к ним отношения. И когда Гарбузов отрицал их, удивленный следователь, успевший оценить прямоту и честность Виктора, протягивал ему показания других проповедников и пресвитеров. И Виктор видел, как юлили они, как отрекались от своей паствы, и от правды, и от него, брата Виктора, как пытались свалить вину за все друг на друга, и в особенности на Гарбузова.

— Как видите,— сказал следователь, внимательно глядя на Виктора,— ваши «братья во Христе» не стесняются нарушать не только законы общества, в котором живут, но и законы своей веры. Ведь требование не лжесвидетельствовать, если не ошибаюсь, один из главных заветов Библии?

— Какие они мне после этого «братья»? — хмуро ответил Виктор.

Ему вдруг захотелось забиться куда-нибудь в угол и завыть от обиды и тоски. Он знал, что в пылу полемики или междоусобной борьбы за влияние над верующими многие пастыри пускают в ход и подсиживание, и прямую провокацию, и многое другое. Но то было между своими, а между своими чего не бывает. Но такого предательства он не ожидал.

— Зачем же вы так суровы к ним? — улыбнулся следователь.— Они поступают вполне в духе священного писания и даже согласно букве его. Ведь даже Петр трижды отрекся от Христа, и это никак не отразилось на нем. Он не только не понес наказания за трусость, предательство и лжесвидетельство, упрека не получил и стал апостолом! И как испытанный и последовательный христианин, которым вы себя считаете, вы тоже должны не заметить их предательства и лжи, как не заметил его Христос.

— Если бы я был Христом, я бы не заметил. А поскольку я лишь грешный пастырь его овец, я могу лишь простить им, но братьями считать их больше не могу, ибо не Авели они, но Каины, поднявшие руку на брата своего...

Одновременно со следствием по делу руководителей общин пятидесятников на многих предприятиях, в колхозах и совхозах Смоленщины и других областей проходили собрания рабочих и колхозников, на которых выступали бывшие верующие, порвавшие с пятидесятничеством. Почти всех этих людей Виктор знал, но обиды на них в душе не было. Была лишь жалость, что не выдержали они испытания в вере.

Самым тяжким испытанием стал для него суд, когда «братья по вере» уже не на бумаге, а перед его глазами ушатами лили на него грязь, пытаясь оправдаться. Он с открытым сердцем принимал от своих единоверцев и бывших учеников обвинения в том, что он действительно делал. Он молился за отрекшихся от бога, мужественно выслушал суровый приговор суда, но что он мог сказать в ответ на ложь и хулу?

Потом, уже в Красноярском крае, он вновь и вновь будет мучительно переживать весь судебный процесс, длившийся три дня, вдумываться в каждое прозвучавшее там слово. А затем начнет перебирать в памяти каждый свой прожитый день, день за днем возвращаясь к своему обращению в веру. И это — его собствен-

ное следствие и его собственный суд — будет во много раз тщательнее и беспощаднее, чем то, что довелось ему испытать, ибо ни один следователь, ни один свидетель не знали столько о его вере и о нем, Викторе Гарбузове, сколько он сам. И что значил для него мирской приговор по сравнению с приговором собственной совести!

Да, размышлял он, все эти годы он шел дорогой страданий, которой когда-то шел сам Христос, и по этой дороге вел за собой верующих, пристально следя, чтобы никто из них не оступился. И рядом той же дорогой вели другие стада его единоверцев другие пастыри. Когда кто-нибудь оступался на этой дороге, они всей общиной старались вытащить его из трясины мирских грехов и соблазнов на твердую почву веры. Кто-то уходил в мир, и они всей общиной молили за него господа, чтобы простил он и образумил заблудшего.

Так шли они к заветной цели, и растягивалось в пути стадо Христово, и он ободрял одних, подстегивал других, ставил в пример третьих. И если были у него сомнения, то отнюдь не в цели, а в дороге к ней.

Пастыри стада Христова то и дело схватывались друг с другом или с пастырями инаковерующих христиан, и более опытный и сильный из них уводил людей за собой, а более слабые и менее опытные довольствовались оставшимся от сильного. И он, Виктор, был одним из сильных и давно уже не терпел поражений...

Молясь и вспоминая, вспоминая и молясь, в каждом своем дне находил Виктор теперь что-то, на что уже не мог с прежней уверенностью сказать «аминь». Вновь вставали перед ним лица верующих из разных общин, лица, смиренные и распаленные спором, сомневающиеся и горящие неистовой верой, вопрошающие и наставляющие. Они приходили к нему, своему наставнику и пастырю, за утешением, за укреплением в вере, но что мог он ответить им, чем утешить, если сам теперь не понимал, что было в их жизни от бога, а что помимо бога, в чем виноват он, их наставник и руководитель, и в чем невиновен.

И если и теперь на свое слово и на свое дело, подкрепленное Библией, он говорил себе, что истинно было оно и согласно с верой, то, обращаясь к святая святых веры пятидесятников — к «иноговорению» и пророчествам, не находил он в себе прежней твердо-

сти. И чем больше размышлял он об этих дарах святого духа, тем больше сомневался в их истинности.

С того момента, когда он почувствовал присутствие в себе бога, он верил лишь в его волю, воспринимая и оценивая реальную жизнь лишь в ее соответствии или же в несоответствии со своими религиозными взглядами. И сейчас, размышляя между молитвами об истинности «иноговорения» и пророчеств, он стремился понять, что из того, что он слышал и чему сам стал свидетелем, было действительно от бога.

За время его пребывания в пятидесятничестве он присутствовал на множестве молитвенных собраний, сотни раз сам руководил ими и знал, что в разных общинах «иноговорение» и пророчества обставлены поразному. В одних случаях пророчица или пророк сами толковали свои откровения, придя в себя после наития святого духа, в других случаях их пророчества толковал кто-нибудь из проповедников или пресвитер. В-третьих, кто-нибудь из руководителей общины погружал верующего в состояние «иноговорения» и руководил им, по-своему поясняя бессвязные фразы, ссылаясь в основном на подходящие к случаю библейские тексты.

Виктор давно уже заметил, что верующие, осененные даром «иноговорения», тоже неодинаковы. Одни впадали в это состояние совершенно непроизвольно — бывало, что во время проповеди, прерывая ее, кто-то вдруг начинал дергаться, выкрикивая слова молитвы, и вот уже нашло на него, накатило откровение господа. Другие же долго и упорно молились, прежде чем удавалось впасть в это состояние. Третьим требовалась помощь общей молитвы и какого-нибудь определенного проповедника.

Перебирая все это в памяти, Виктор размышлял, от бога ли, истинны ли «иноговорения» в двух последних случаях. Ведь если от бога, думал он, то человек не властен над ними и не может по своему усмотрению молиться либо так, либо этак. И наоборот, если он по своему желанию вызывает это состояние, то не от бога оно, а от самого человека и нет в нем высшей истины.

О том, почему пророчества, как правило, сбываются, Виктору не надо было задумываться. Он столько наблюдал за толкованием пророчеств, столько толковал их сам или руководил их толкованием, что здесь

для него не было никаких тайн. Здесь тоже были как бы три вида пророчеств — одни касались непосредственно жизни верующих и были основаны на известных толкователю фактах.

Второй вид толкований ограничивался туманными предсказаниями, напоминая емкие фразы цыганок. В эти абстрактные фразы проповедники вкладывали потом конкретный смысл, указывая на те или иные факты, случавшиеся в жизни и подходящие к случаю. Ни для верующих, ни для проповедников в этом не было, да и не могло быть даже намека на обман. Пророчество не могло не исполниться, и надо было только суметь найти приметы его исполнения, что проповедники и старались сделать.

Но был и третий вид толкований, когда предсказывались различные чудеса и необыкновенные события. Такие предсказания были редки, никогда не исполнялись, и о них быстро забывали, рассудив, что толкователь не совсем правильно понял смысл предсказаний.

Если бы святой дух овладевал людьми только в молитвенных собраниях, то все было бы ясно. Но святой дух нередко посещал их в самых неподходящих местах — в автобусе, в магазине, на работе, короче говоря — где придется. Кроме того, именно эти избранные нередко попадали в психиатрические лечебницы, и как найти ту грань, где устами их говорил еще господь, а где уже болезнь? Конечно, всему этому можно найти в Библии объяснение, но Виктор, изрядно понаторевший в религиозных диспутах, знал уже, что с Библией следует обращаться осторожно, что большинство ее текстов можно повернуть и так и этак...

Сам охваченный сомнениями, что мог ответить он вопрошающим верующим, лица которых, выхваченные памятью из минувших дней, вставали перед ним?..

В эту пору судьба свела его с Анатолием Даниловым и Геннадием Тарасенковым. Оба новых знакомых Виктора были в словах неторопливы, в разговорах сдержанны. О себе рассказывали мало, больше расспрашивали и слушали Виктора. Темой для постоянных бесед была Библия и ее толкования. Библии ни у кого из них при себе не было, но Данилов посоветовал Виктору брать в библиотеке атеистическую литературу и читать в ней лишь выдержки из Библии,

не обращая внимания на авторский текст. Виктор попробовал так делать, но конечно же не удержался, да и мудрено было бы, ища цитаты, не прочитать одну-две фразы рядом. А там, заинтересовавшись, он нередко начинал читать и дальше, приходя в смятение от собственной смелости и от обнажавшихся противоречий в священном писании. Однако Данилова и Тарасенкова эти противоречия не смущали.

— В Библии нет и не может быть противоречий,— говорили они,— но есть места, где под внешностью противоречий скрыта сложная и недоступная для непосвященных истина. Ты сейчас не понимаешь ее и не пытайся понять, ибо пока еще у тебя молочные зубы, им такие косточки не под силу. Поэтому ешь мякоть, а косточки выплевывай. Придет время, тогда сможешь разгрызть любую косточку.

Со многим в их толковании он не соглашался, и тогда начинался яростный спор, в котором Тарасенков старался держаться в тени, а Данилов обнаруживал не меньший навык, чем Гарбузов, и потому победа оставалась то за Анатолием, то за Виктором.

Данилов и Тарасенков были приверженцами учения свидетелей Иеговы. Гарбузов хорошо знал учение баптистов, пятидесятников, вел диспуты с адвентистами, иеговистами-ильинцами, приверженцами истинно-православных христиан. Со свидетелями Иеговы он встретился впервые, хотя и слышал о их существовании, и потому был не прочь получше разобраться в их вероисповедании.

Он часто не соглашался с Даниловым и Тарасенковым, то и дело спорил, сомневался и... все больше втягивался в новую веру. Разочарование в истинности пятидесятничества, суд над собой за судьбы своих единоверцев, мучительные размышления долгими ночами лишили его былой уверенности, целеустремленности. Он, сам того не понимая, тосковал по утраченному смыслу жизни и цельности стремлений и хватался за всякую возможность вновь обрести их. Но обрести их он мог только в вере, ибо, сомневаясь в истинности тех или других христианских учений, он не усомнился в самом христианстве, в божественном устройстве мира. И потому, не соглашаясь и споря, сомневаясь и опасаясь, он все ближе сходился со свидетелями Иеговы и даже стал выполнять некоторые их поручения.

Когда Виктор вернулся домой, его ожидала новая, личная трагедия. Его предали самые близкие ему люди и по людским понятиям, и по вере, те, в ком он всегда находил опору и сочувствие и для кого сам долгие годы был надежной опорой.

Виктор опять уехал в Красноярск, и, уже не раздумывая, принял в селе Суетихе водное крещение у свидетелей Иеговы. Работать он устроился в одно из строительных управлений и сразу же прослыл там мужиком с золотыми руками, но «с большим приветом». Впрочем, ничего удивительного в том нет — годы неистового, всепоглощающего служения богу оставили на нем свой след.

С товарищами по работе он был ровен в обращении, но замкнут, ограничивался рабочими часами «от» и «до» и всех без исключения держал на дистанции. Работал он без перекуров, лишь изредка, два-три раза за день, опускал вниз тяжелые, крупные руки, делал десяток-другой шагов, разминая затекшие мускулы и вновь принимался за дело. Товарищей его поначалу удивляло, что он не курит, не пьет, даже кружку пива никогда не примет в компании, что и футбол, и хоккей не вызывают у него ни малейшего интереса. Не ускользнет от них и то, какой мгновенный и острый взгляд может он бросить как бы невзначай, какой странной, тревожащей силой обладает этот взгляд...

Из-за замкнутости и упорной отстраненности Виктора от всего, что не было прямо связано с выполняемой им работой, ни товарищи по бригаде, ни соседи по общежитию, куда он приходил только ночевать, практически ничего не знали о нем. А между тем нелюдимый и никогда ни во что не встревающий на работе плотник Виктор Гарбузов был по достоинству оценен деятелями сибирского центра свидетелей Иеговы и назначен руководителем — на их языке «слугой» — «группы», то есть тех верующих, что жили в самом Красноярске и его пригородах.

Наследство Гарбузову досталось не ахти какое. Знакомство со своей новой паствой произвело на Виктора удручающее впечатление. Это были в основном малограмотные люди, не разбиравшиеся ни в Библии, ни в учении свидетелей Иеговы. Все они ждали последней битвы Христа с Сатаной — армагеддона — и каждое стихийное бедствие, каждое осложнение меж-

дународной обстановки считали его началом. Большинство из них жили кое-как, пустив на самотек свои житейские дела, ибо считали бессмысленным заботиться о чем-либо — все равно вот-вот все сгорит в пламени священной битвы Иеговы с Сатаной!

Основательно разузнав о действующих в Красноярске религиозных общинах и о настроениях верующих, Виктор разбил свою паству на два кружка и резко активизировал их деятельность. Первым делом он наладил изучение Библии и вероучения — так называемые «студии». Но проводить их пришлось в каждом кружке самому. Кроме того, он стал обучать своих подопечных наиболее простым и эффективным методам миссионерства, разделив население города на несколько групп и закрепив каждого верующего за определенной группой. И вскоре деятельность красноярских свидетелей Иеговы оживилась. Из Назарова, где жили «слуги» обвода (вышестоящего звена организации) Николай Зинич и Николай Заяц, в Красноярск и обратно начали курсировать курьеры, доставляя Виктору религиозную литературу и инструкции; а от него — увозя отчеты о деятельности группы. На занятиях «студий» появились новые люди, заинтересовавшиеся учением свидетелей Иеговы. С ними работал уже сам Гарбузов, и вот, впервые за несколько лет, Николай Заяц «преподал» неподалеку от станции Зыково водное крещение сразу нескольким новообращенным.

Для руководителей обвода это был крупный успех. Авторитет Гарбузова все больше укреплялся не только среди его подопечных, но и среди руководителей. А Виктор тем временем решил использовать раскол в красноярской общине евангельских христиан-баптистов, вызвать среди отошедших от нее и создавших собственную общину новый раскол и увлечь часть верующих учением свидетелей Иеговы. Вскоре ему удалось попасть на разбор Библии в новой общине. К религиозным диспутам ему было не привыкать, и община быстро утратила единодушие. Одни приняли сторону Гарбузова, признав, что он правильно понимает и толкует Библию, другие стали возражать, что тоже было ему на руку, ибо он был уверен, что, чем больше будет споров, тем больше верующих убедит он в своей правоте.

Известие о новом успехе Гарбузова дошло, очевид-

но, не только до Назарова, но и значительно выше по иерархической лестнице свидетелей Иеговы, и Виктору дали понять, что в случае удачного завершения этой операции он может рассчитывать на крупное повышение — работу в центральном руководстве организации...

Но странное дело — чем больше доверяли Виктору руководители свидетелей Иеговы, тем меньше доверял он им сам. Вначале, когда в беседах с Даниловым и Тарасенковым речь шла лишь о библейском обосновании вероучения, и позже, во время изучения богословской доктрины свидетелей Иеговы, Виктор все больше проникался верой в его истинность. Одной из сильных сторон этого вероучения он признал его обращение не только к чувствам, но и к разуму человека. По душе ему пришлось и многое другое, поначалу вызывавшее у него резкие возражения, например тысячелетнее царство праведников, которое должно установиться после армагеддона на земле, а не на небе, как в большинстве других религиозных учений.

По мере того как укреплялся авторитет Гарбузова, ему присылали все новые и новые инструкции по организации деятельности группы и свежую религиозную литературу, часть которой предназначалась только для пастырей, но никоим образом не для пасомых. И чем внимательнее вчитывался во все это Гарбузов, тем отчетливее понимал, что вероучение свидетелей Иеговы и практическая деятельность его новых руководителей существуют отдельно, сами по себе. И если среди рядовых верующих упор делался не на молитвы и богослужения, а на «свидетельства» о скором пришествии Иеговы и на обязательные денежные взносы в фонд организации, то, чем выше по иерархической лестнице, тем больше непосредственное служение богу уступало место чисто организаторской деятельности, противоречащей законам советского общества, тщательно скрываемой и от людей, непричастных к свидетелям Иеговы, и от рядовых верующих, и даже от их пастырей.

Руководить «группами» и «обводами» доверялось, как правило, тем, кто помимо наличия прочих необходимых для этого качеств уже вступал в конфликт с законом и должен был, по мнению центра, иметь обиды на общество и Советскую власть. И чем

большую деятельность развивал Виктор, тем сильнее не нравилась ему та ее сторона, которая к служению богу не имела никакого отношения. Бог был для Виктора превыше всего, и этот бог в его понимании так и остался олицетворением любви. Сложной, трудной, временами мучительной и таинственной, но все-таки любви. А богом большинства руководителей свидетелей Иеговы была ненависть. Именно такое понимание бога осторожно, но настойчиво прививали они рядовым верующим.

Так вот и получилось, что у самого Гарбузова его практическая религиозная деятельность и его сомнения несколько лет тоже шли как бы параллельно, как бы сами по себе. Но рано или поздно они должны были пересечься, ибо не было у него обиды на советское общество и в душе его жила любовь к своей Родине и преданность ей.

Виктор одержал победу в споре с баптистами, убедив их в правоте учения свидетелей Иеговы. Но, как ни странно, именно те аргументы, которые он использовал в этом споре, вдруг отрезвили его, и он, выйдя победителем после разбора Библии, пришел к себе в общежитие побежденным. Он провел долгую бессонную ночь наедине со своими размышлениями и отправился на работу невыспавшимся, к чему, впрочем, ему давно уже было не привыкать, но с удивительно ясной головой. А после работы, опасаясь своего поступка и гордясь им, пошел в библиотеку и попросил что-нибудь о свидетелях Иеговы. Его не сразу поняли и переспросили:

— О свидетелях чего?

— О свидетелях Иеговы...— смутившись, ответил он и, пересиливая себя, объяснил: — Это... вера такая...

Придя в общежитие непривычно рано и вспомнив о том, что не надо никуда спешить, не надо готовиться ни к «студии», ни к беседам с верующими или людьми, заинтересовавшимися учением свидетелей Иеговы, он, не торопясь, пошел в столовую, спокойно поужинал, не спеша, вернулся в комнату, освежился коротким, но глубоким сном и раскрыл первую из принесенных брошюр...

День за днем он читал и думал, думал и снова читал. И вдруг сообразил, что взялся за атеистическую литературу третий раз — первый был еще перед об-

ращением в баптизм, второй — в Красноярском крае. Когда он пошел в библиотеку, то был уверен, что вряд ли найдет что-нибудь стоящее. Руководители свидетелей Иеговы даже ему, «слуге» «группы», уже проявившему и зарекомендовавшему себя наилучшим образом, предпочитали не открывать своих тайн и секретов. Откуда же они могут быть известны атеистам? Но оказалось, то, что усиленно скрывали старшие «братья», подробно изложено в брошюрах о его новой вере.

Конечно, не во всем Виктор мог согласиться с авторами этих брошюр, но в главном, в том, что касалось истинности учения, возразить ему было нечего. Истиной свидетели Иеговы не обладали, а руководители организации действительно старались использовать доверие верующих в своих целях. Но если даже он, размышлял Виктор, человек, прошедший школу нескольких вероучений, изрядно понаторевший в толковании Библии и в религиозных диспутах, немало повидавший за свою жизнь, не сумел сразу понять, что к чему, то чего же требовать от рядовых верующих, не знающих толком ни учения свидетелей Иеговы, ни Библии. Конечно, они веруют и будут веровать, ибо для них, так же как и для него, в вере сосредоточен весь смысл жизни, а в вопросах истинности той или иной веры они слепы и глухи...

Решение порвать со свидетелями Иеговы раскрепостило Виктора. Он остался как бы наедине с богом, с книгами и с самим собой, и ему вполне хватало этих трех собеседников. Отпала необходимость хитрить, убеждать других в том, в чем сам не был уверен. Он наслаждался обретенной свободой.

Размышляя об учении свидетелей Иеговы, Виктор, конечно, возвращался и ко временам своей приверженности баптизму и пятидесятничеству. Виктор внимательно вдумывался во все, что сохранилось в его памяти от тех лет. А сохранилось многое, и воспоминания эти всякий раз доставляли ему почти физическую боль. Как во многом он был не прав, слеп и жесток, как часто принимал желаемое за действительное, а действительное — за желаемое...

Он вспоминал поездки по стране с проповедями, перебирал в памяти верующих и пастырей различных общин и не находил ни в ком из них истины. Он вспо-

минал религиозные диспуты, перебирал их участников, людей с непререкаемым авторитетом в своей среде, всматривался в их лица, вслушивался в их и в свои аргументы и не находил в них истины. И вспоминая Евангелие от Матфея: «Если кто скажет вам: вот, здесь Христос или там,— не верьте»,— мучился и недоумевал, как не мог он разглядеть тогда, что слепцы они и вели они слепцов, а вернее, ослепленных ими и что не вера, бескорыстие и милосердие были их компасом, а заблуждение, корысть и гордыня.

И разве легче ему сейчас от понимания того, что именно руководило тем или иным пастырем, или того, что были среди них и просто искренние слепцы, считавшие себя провидцами. Но и теперь, мучаясь прошлым, он мучился лишь своими ошибками, лишь своими грехами перед богом и перед людьми, лишь своей слепотой. Сейчас в собственном прошлом лишь себе был он судьей, остальным же — лишь следователем. И пройдя сквозь эти воспоминания десятки раз, он пришел к неожиданному вопросу: «А что есть бог?»

Если бы ему, отдавшему два десятка лет убежденному, искреннему служению богу и наставлению верующих, этот вопрос задал кто-нибудь другой, он, наверно, рассмеялся бы, счел бы это либо глупой шуткой, либо откровенной насмешкой. Но сейчас, когда он сам вдруг спросил себя, он растерялся. Конечно, множество самых разных ответов пришло ему на ум, но то-то и плохо было, что именно множество, а не тот, единственный, исчерпывающий и убедительный, который был необходим. И ведь знал же он, что бог постигается не разумом, но чувством, что это величайшая тайна. Однако ведь чувством-то постигается, а то, что постигается, может быть высказано словом. Все эти годы он был уверен в том, что чувством постигает бога. И опять возвращаясь в прошлое, пытаясь в нем, в годах, проведенных в убежденной вере, найти, обрести это чувство, он вновь и вновь убеждался, что не было истины в том «брате» Викторе, как не было ее и в знакомых ему верующих и пастырях, как не было ее и в его противниках по религиозным диспутам.

Уход Виктора Гарбузова сильно озадачил руководителей «обвода». Видимых причин для столь резкого — словно топором отрубил — разрыва не было. Нового «слугу» считали человеком с большим будущим.

И вдруг, когда ему дали понять, что он может рассчитывать на крупное повышение, он внезапно прекратил не только свою деятельность, но и все встречи с кем бы то ни было из свидетелей Иеговы.

Вначале в «обводе» ждали, что он либо выскажет какие-нибудь обиды — и тогда все можно будет уладить полюбовно,— либо выступит с разоблачением. Но время шло, а Гарбузов молчал. Тогда к нему послали нечто вроде делегации для выяснения отношений. Миссия потерпела полный провал — Гарбузов считал, что выяснять нечего, так как никаких отношений со свидетелями Иеговы у него больше нет.

Сказать, что, уйдя от свидетелей Иеговы, Виктор Гарбузов ушел и от религии, было бы неверно. Слишком много сил отдал он служению богу, слишком со многим как бы сросся душой, чтобы вдруг, одним махом порвать с верой. Конечно же он еще верил, молился и даже больше, чем когда-либо, читал Библию, но при всем том его сознание упорно требовало ответа на тот проклятый вопрос — а что есть бог? И как ни странно, теперь, умудренный опытом своих религиозных исканий, Виктор не находил убедительного ответа. Все, что он слышал от своих наставников и соратников по вере, ему не подходило. Этим можно было убеждать других, менее искушенных, чем он, можно было в подходящий момент использовать в споре с инаковерующими, но ответить так самому себе он не мог, ибо знал уже, что нет в этом истины...

И вновь обратился он к литературе. Верил ли он авторам атеистических книг? Трудно сказать. Но не было в нем уже той предвзятости, той категоричности, с которой отбрасывал он ранее всякую мысль и всякое слово, несогласное с Библией. Теперь он размышлял, сопоставлял то, что читал, с тем, что знал и чувствовал сам. «Завещание» аббата Жана Мелье, статьи епископа В. М. Брауна, доктора богословия Ф. Шахерля, доктора теологии А. Тонди, митрополита Н. Ф. Платонова, сборник «Правда о религии». Судьбы, взгляды, мнения...

Всецело захваченный своими размышлениями, Виктор не сразу заметил, как исподволь возвращалось к нему полузабытое наслаждение работой. Да, собственно, наслаждения поначалу и не было, а просто хорошо и спокойно работалось, легко текли мысли, и такая ус-

покоенность владела им, что он порой переставал следить за временем и как-то раз прихватил часа два после рабочего дня. Он, может, задержался бы и дольше, если бы не заметил удивленных взглядов товарищей по бригаде. Управление сдавало объект досрочно, и каждая бригада старалась выполнить свое задание как можно раньше, чтобы расширить фронт работы для других. Такое случалось нередко — управлению доверяли самые срочные и ответственные объекты, но до этого дня Виктор был негласным исключением из общего правила — работал он лишь «от» и «до». И если бы не его мастерство и не редкостная добросовестность, трудно сказать, как бы сложились его отношения с бригадой.

Спохватившись, что рабочий день давно кончился, Виктор смутился, прибрал на скорую руку инструмент и не ушел даже, а, скорее, убежал в общежитие. Он был недоволен собой, опасался расспросов и чего-то еще, чего — и сам не мог толком понять. Но до общежития он тоже не доехал, а пошел бродить по городу, затеяв довольно странную игру: присматривался к какому-нибудь прохожему и по его одежде, выражению лица, особенности походки и вообще по штрихам его поведения пытался представить себе его характер.

Некоторое время Виктора забавляла эта игра, но постепенно она не только наскучила ему, но и привела еще к одному неожиданному вопросу — у верующих есть бог, а что есть у тех, кто не верит в бога? Ведь во что-то они должны верить? А если ни во что не верить, тогда зачем жить? Чтобы выпить еще один стакан водки, выкурить еще одну сигарету и закрутить роман еще с одной женщиной? Не слишком ли это мало для человека? Ну, пусть кто-то живет ради этого, но большинство-то зачем? Для чего?

А зачем я сам жил когда-то, подумал он, и во что я сам верил?

Виктор давно уже не вспоминал свою юность, давно запретил себе думать о ней. Все забытое, загнанное в дальние уголки памяти захлестнуло его. Защемило душу, и так вдруг жаль ему стало эту ушедшую юность, так нелепо оборванную по собственной воле, и так резко, обнаженно предстали перед ним два десятилетия его блужданий, что он опустился в вечернем сквере на первую попавшуюся скамейку, уткнулся ли-

цом в ладони и зарыдал, уже не таясь от себя, не думая о случайных прохожих...

В общежитие Виктор пришел в первом часу в каком-то приподнятом настроении. Не зажигая света, разделся, лег и по сложившейся десятилетиями привычке помолился перед сном.

Кто из нас не ошибался в своей жизни и кто из нас не сожалел об ошибках? Право на поиск есть право и на ошибку, хотя не всякая ошибка от поиска. И много за свою тысячелетнюю историю придумало человечество различных судов, начиная от суда соседа своего и кончая божьим судом. Но всегда был и будет над человеком еще один, главный судья — его собственная совесть. Ибо людской суд может наказать, но только собственной совести дано осудить.

Все чаще подсаживался Виктор во время перекуров к товарищам по бригаде, все чаще, если требовало того дело, задерживался после рабочего дня или подменял кого-нибудь. Был он по-прежнему сдержан и немногословен, но даже со стороны заметно было, как становится он мягче. Читал он теперь в основном художественную литературу. Постепенно пристрастился к кино и даже стал ходить в парк, смотреть, как отдыхают и веселятся люди. Он присматривался к жизни, как бы примеривая ее на себя. Трудно сказать, сколько бы это продлилось, если бы Виктор не познакомился однажды со своей будущей женой. Было в их судьбах нечто общее — оба имели когда-то семьи, оба разошлись, у него в Рославле рос сын, она растила дочь. Общее было и в их характерах — оба, много пережив, бережно и осторожно подходили к своему будущему. И наверное, именно это незаметно подвело их к тому моменту, когда поняли они, что близки и необходимы друг другу.

Сначала осторожно, нащупывая каждый шаг, а потом все смелее и увереннее входил Гарбузов в новую жизнь. В одной из книг он прочитал о том, как человек, перенеся тяжелый инфаркт, заново учился сначала сидеть, потом ходить... Виктор усмехнулся, покрутил головой. Вот так же и я, подумал он, заново жизнь начинаю.

Постепенно он сошелся ближе с товарищами по работе и был удивлен и растроган, когда ему доверили руководство бригадой. А вскоре и еще одна радость

пришла к нему — родилась дочь. И Виктору уже стало казаться, что после стольких лет метаний и поисков нашел он наконец то, в чем заключена одна из трудных истин бытия, — свое место в жизни. Теперь у него была любимая семья, распахнутый мир, в котором Виктору Гарбузову есть где приложить свои крепкие, охочие до работы руки.

Но прошлое всегда живет рядом с настоящим, и если даже мы уходим от прошлого, то не всегда оно сразу уходит от нас. И вновь ворочался Виктор без сна, вспоминая все двадцать лет поисков и ошибок. Опять проходили перед ним лица пастырей и пасомых, верующих и уверовавших, тех, кто отрекся от него, и тех, от кого отрекся он. Сколько же людей привел он к обители Христовой! Перед сколькими виноват, внушив им собственные заблуждения! И как, чем искупить вину за их искалеченные судьбы, за разбитые семьи, за утраченное здоровье, потерянные годы...

Так в газете «Красноярский рабочий» появилась его статья «Исповедь о блужданиях», подписанная «брат Виктор». Статья обсуждалась во многих рабочих коллективах края, и в частности там, где работал Гарбузов.

Он слушал выступления своих товарищей со смешанным чувством робости и жадного интереса. Никто из них не догадывался, что автор статьи сидит тут же, среди них. Высказывались откровенно, до резкости. И хотя Виктор давно уже совершил суд над самим собой, этот суд, суд его товарищей, повернул перед ним его собственную жизнь какой-то совсем иной гранью, невольно подвел Виктора к такой мысли: если ты внушил десяткам людей собственные иллюзии и заблуждения, тем самым обокрав их жизнь и жизнь их близких, а в конце своих исканий обрел истину, то имеешь ли ты право довольствоваться этим? Не обязан ли ты искупить хотя бы частично свою вину перед теми, кто верил тебе больше, чем самому себе?

Так зрело в нем решение заняться атеистической работой. Он многое знал о разных религиозных течениях, был посвящен в секреты миссионерской и проповеднической деятельности. И кому же, как не ему, ревностно искавшему двадцать лет истину в религии и обретшему ее лишь в реальной, земной жизни, поведать о своем горьком опыте заблуждающимся людям?

Так окончилась его одиссея...

Конечно, можно было бы рассказать о том, как Виктор Гарбузов с помощью опытных людей разобрался в том, в чем не сумел разобраться в юности, можно было бы написать и о том, как он поступил в вечерний университет марксизма-ленинизма и с отличием закончил его, как коммунисты стройуправления приняли его в партию, как выступает он перед студентами и учителями, перед врачами и библиотекарями — перед всеми, кому приходится соприкасаться с такой тонкой и деликатной сферой, как взгляды, убеждения и чувства людей.

Многое можно было бы еще написать о Викторе Ивановиче Гарбузове, но это будет уже другой очерк — об отличном мастере своего дела, руководителе передовой бригады, человеке, упорно и целеустремленно творящем реальное конкретное добро в нашей реальной, земной жизни.

Улыбается мой герой и спешит, опять спешит... Подняв на прощание руку, прыгает в ранний красноярский автобус, и тот уносит его в район новостроек, туда, где поднимаются к небу еще обнаженные корпуса заводов и жилых домов, туда, где день за днем творит он свое добро, творит свой мир. Ибо в чем еще может так осязаемо и зримо воплощаться конкретное добро, как не в здоровье, возвращенном человеку, в добротном жилье для него, в ароматном свежем хлебе и щедром душевном слове? Лишь словом и делом можно утверждать добро, ибо мертво слово без дела, но и черство дело без слова.

А потому счастливого пути тебе, Виктор!

СОТВОРЕНИЕ МИРА

Со всеми героями этой книги я встречался не раз и не два. Проходили месяцы, иногда годы, и судьба вновь сводила нас. И снова были долгие разговоры о жизни — прошлой и настоящей, о проблемах атеизма и о проблемах религии.

Как-то мы разговорились с Виктором Ивановичем Гарбузовым об отношении к труду. Дело в том, что в последние годы мне часто приходилось встречаться с утверждениями пресвитеров и проповедников баптизма, пятидесятничества, адвентизма и других христианских вероучений о том, что религия воспитывает в человеке добросовестное отношение к труду и этим, наряду с другими своими положительными сторонами, она ценна для общества. И мне, конечно, интересно было, что скажет по этому поводу Виктор Иванович — рабочий человек, бригадир, а в прошлом проповедник и пресвитер.

* * *

Вы спрашиваете меня о труде... О каком именно труде? Нет, нет, я имею в виду не ту или иную профессию, не физическую или умственную работу. Я о другом — о содержании труда. Ведь каждый из нас воспринимает свой труд по-своему. Для одного это возможность наиболее полно отдать себя людям, обществу. Другому радость приносит результат его труда. Он может мучиться во время работы, проклинать ее, но результат оплатит все сторицей. А третий счастлив именно самим процессом труда, и результат для него хотя и важен, но второстепенен. Для иного же труд — источник его материального благополучия, залог душевного спокойствия и возможности удовлетворять личные интересы. И наконец, есть люди, для

которых труд — тяжкая обязанность. Им важно только материальное вознаграждение. Все остальное, что составляет содержание труда, для них безразлично, а порой и чуждо. Поэтому я и спросил, о каком труде мы говорим... Маркс и Энгельс называли коммунизм скачком из царства необходимости в царство свободы и всегда различали, о каком труде идет речь — о труде необходимом, как источнике материального существования, или о труде свободном — внутренней потребности человека реализовать свои творческие возможности. Мы с вами живем при социализме, когда рядом существуют и тот и другой и много промежуточных разновидностей труда, и следует различать их, когда речь идет о реальной жизни и живых людях.

Привычка, а за ней и любовь к труду, к делу рук своих пришли ко мне рано. В оккупации, да и потом, после освобождения (а жили мы тогда в Смоленской области, то в городе Рославле, то в деревне Кустовка) приходилось помогать взрослым. Это я говорю так — помогать, а если разобраться, то работали мы, мальчишки и девчонки, наравне с матерями и тетками — мужиков-то, почитай, и не было вовсе — кто на фронте, кто партизанил... А крестьянская работа — «что потопаешь, то и полопаешь». Тут кое-как не сделаешь — обязательно добротно и в полную силу. Иначе твоя леность тебя же по животу ударит. Да и не только тебя, а и семью твою и соседей.

А потом уже, после войны, открылся мне вкус токарной работы по дереву. Был у нас на вагоноремонтном заводе мастер — Николай Игнатьевич Чучуев. Не только по должности мастер, а по таланту. Он любую работу делал словно песню пел, всем приятно было смотреть на него. Я в то время уже столярничал вовсю. Березу, ясень, бук и другие породы, что через руки мои проходили, не то что по твердости, по виду — по запаху узнавал, фактуру каждой пальцами чувствовал... Вот тогда-то и свел меня Игнатьич со станком. Тут уж другой смысл был, тут словно еще две руки у меня появились. Вначале непослушные, вроде как пальцы в первом классе к карандашу, а потом пошло-поехало. И чем лучше я свой станок узнавал, тем больше нового видел в нем. Норма была: выточить ножку для стула — два часа. Помню, как мудрил, придумывал, сократил срок до десяти — пятнадцати минут...

Я тогда уже бригадиром молодежной бригады стал. Прибегали мы не к восьми, а минут за пятнадцать — двадцать. Пока инструмент разберешь, покуришь, новостями, мыслями да шутками обменяешься, за верстак или за станок пора. А там — понеслись наперегонки со временем. Да еще на соседа поглядываешь — не отстал ли?.. Дружно мы жили, весело. Каждый своей работой гордился и работой бригады тоже.

Помню, спецзаказ выполняли — вагоны для целины. Столярка там какая? Каркас обшить, двери навесить, диваны да столики. Вкалывали мы от души! Уходит с завода очередной вагон, а мы мечтаем, кому да как он службу свою служить будет... Оттого и гордые были, оттого и веселые. Бывало, иной раз и в воскресенье работали. А как же — целинники-то пахали и сеяли и небось в календарь не смотрели, что там, среда или воскресенье. А мы себя теми же целинниками считали, только вторым эшелоном. Мы с дружком — Женей Марченко — отработали смену и, считай, каждый день то на секцию бокса, то в Дом культуры — пели. А с целинным заказом как отрезало. Так и решили: пока не выполним, нет для нас развлечений. Но мы так не только над целинным заказом работали. Мы вообще любили так работать, чтобы от всей души выложиться, чтобы весело было, чтоб гордиться и за себя и за свою бригаду...

Вот я думаю сейчас, к какой разновидности отнести труд нашей юности? Деньги? Мы тогда трудно жили. И почти у каждого из нас, детей военной поры, на плечах семья, войною же покалеченная. И потому каждый рубль (сейчас десять копеек некоторые и за деньги не считают) был на учете. И конечно, заработок для каждого был важен. Но не рубли владели нами, нашим отношением к работе. Конечный результат? А разве вам неприятно взять в руки газету или журнал с добротно сработанной вами статьей? Разве исстари не гордился каждый мастер своей работой? Я бы на каждое изделие, на каждую деталь именное клеймо ввел — изготовлено мастером Петровым или, скажем, Антоновым. Встань-ка, мастер Антонов, посмотри в лицо народу, и мы тебе в лицо поглядим,— чем ты славен на земле, чем горд перед детьми, перед друзьями, перед обществом? Рабочая гордость — великое дело.

Но, пожалуй, важнее всего была для нас власть наших рук над деревом, над металлом. И еще дружба наша, ощущение своей необходимости людям, своего места на земле. Мы вагоны делали для целины и думали, как-то они там служат, и следили по газетам за нашими целинными соратниками. И вот думаю я, что, конечно, важно было людям, что мы делаем и сколько, но, может быть, важнее — как делаем! Если любит человек дело свое, труд свой, от этого всем польза, всем благо, а не сумел он найти себя, будь то хоть рабочий, хоть врач, хоть инженер,— всем беда: и ему, и людям, и делу. Любишь ты свой труд — и он тебя любит, благодарит за это. А не лежит у тебя к нему душа — и он к тебе спиной повернется. И не будет у тебя ни гордости, ни душевного покоя, ни людского уважения, ни достатка в доме...

Как я к евангельским христианам-баптистам попал, про то особый разговор. В двух словах не скажешь, а если скажешь, слукавишь. Такой зигзаг в жизни не в один день образуется. Как к богу, так и от бога — дорога по пням, да по кочкам. Так душу-то растрясет, что, как говорится, не дай бог... Трудно шел я в религию, изо всех сил упирался, до всего пытался собственным умом дойти, но когда убедили меня, ухнул как в прорубь, с головой, со всем, что на мне и во мне было. И стало меня разворачивать против всего, чем раньше жил, чем дышал, во что верил.

Жил я тогда и работал в Рославле, а община собиралась в деревне Кустовка — километрах в тридцати от города. Бывало, под конец смены с нетерпением на часы поглядывал — не опоздать бы на автобус. Бог стал для меня смыслом жизни, молитва и проповедь — солью ее. «Не оставляйте своих собраний»,— то и дело ссылались наши проповедники на Библию. А Библия для верующего что правила уличного движения для шофера. В ней все расписано — как жить, как поступать в том или ином случае. И нет для баптиста, пятидесятника или свидетеля Иеговы иного закона, кроме закона Библии, иной власти, кроме власти пресвитера или «слуги» кружка, группы и т. д. И если закон общества и закон Библии или власть рабочего коллектива и власть пресвитера столкнутся в противоречии, то убежденный верующий во всем должен положиться на авторитет Библии и пресвитера. Нет ничего удиви-

тельного, что и для меня закон Библии стал превыше всего.

А за вновь обращенными следит вся община, наставляет на «путь истинный». Все больше и больше времени уходило у меня на религиозные дела. Исподволь, но настойчиво мне внушали, что я все свободное время должен отдавать чтению Библии и беседам с верующими. И я не противился. Наоборот, стремился к этому как к смыслу своего существования. Но в сутках-то всего двадцать четыре часа! И для верующего, и для неверующего. Вот и стал я разрываться между еще не ушедшей любовью к своему делу и ревностным служением богу. Да ведь на двух стульях долго не усидишь. То в одно место опаздывал, то из другого раньше времени уходил. Вскоре в общине мне сказали, что двум господам нельзя служить — и богу и маммоне. И я все чаще отпрашивался с работы, отказывался, когда просили поработать в воскресенье. Ибо уже заповедью жизни стало для меня требование Библии: шесть дней работай, седьмой отдай богу.

Община готовила меня в проповедники, и я весь ушел в изучение Библии. Работал я тогда хорошо — норму выполнял на 130—150 процентов. Мне по-прежнему приятно было строгать, пилить, точить... Но куда пойдет то, что вышло из моих рук, было уже безразлично, сколько процентов плана выполнит бригада — тоже. «Руки отдай работе, мысли — богу». Так у меня и шло. Делал я свое дело добросовестно, старательно, но меня уже в этом деле не было...

Вскоре ребята отказались от моего бригадирства. Я стал работать один — сам по себе. Так и разошелся с ребятами — словно и не были друзьями, словно чужие стали друг другу. Жизнь — земная, терпкая, радостная и горестная одновременно — отворачивалась от меня, время уходило — необратимое, уходило навсегда, а я не понимал этого. Все принес на алтарь, и свою любовь к труду — тоже. Словно другой стороной жизнь ко мне обернулась. Жизнь прежняя, земная и новая — религиозная — столкнулись в моей душе. Но я и этому нашел объяснение в Библии, в Послании апостола Павла к римлянам: «...знаю, что не живет во мне... доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю... а злое, которого не

хочу, делаю... Ибо... вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного... Бедный я человек!» Библию я к тому времени уже неплохо изучил, сам стал проповедником. Знал, конечно, и такие изречения: «...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь», «Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день...» Знал, но и сам верил и других убеждал, что под трудом Библия подразумевает труд, отданный богу, то есть молитву и проповедь...

Между тем связи мои с рабочим коллективом обрывались одна за другой. Перед моими глазами стоял пример Андрея Семкина — разъездного пресвитера Смоленской области. Андрей закончил техникум, но работать не стал, а на средства верующих ездил из общины в общину с проповедями. Меня тоже уже приглашали в другие общины, и я не отказывался. Однако тратить деньги общин совестился — ездил на свои. А для такой жизни нужно и много денег и много времени.

На производстве всегда есть более или менее выгодная работа. Обычно в бригаде в течение месяца одно компенсировалось другим, и никто не оставался в обиде. Мы об этом просто не думали. Уйдя из бригады, я уже старался взять самую выгодную работу, а от менее выгодной отказаться. Не соглашался и подменить кого-то, кто заболел, чтобы выручить цех: что мне цех — заблудшие грешники? Я спешил служить богу. Отношения мои с товарищами, с начальством портились все сильнее. Меня перестали отпускать с работы, когда я пытался отпроситься. Тогда из общин стали присылать на работу телеграммы — меня приглашали на «похороны родственников». Конечно, никто на самом деле не умирал, это была чистейшая ложь, а ведь сказано: «Не лжесвидетельствуй», но ни меня, ни других верующих это не смущало. Первое время эти телеграммы помогали, но потом начальник цеха сообразил, что, судя по ним, все мои родственники умерли уже дважды. И мне в глаза стали говорить, что я лгу, изворачиваюсь, что мне хоть потоп — лишь бы на молитвенное собрание не опоздать...

Чтобы содержать семью, разъезжать с проповедями, я стал столярничать по вечерам на дому, используя «левый» материал. К тому времени я уже разоча-

розался в баптизме, принял крещение у пятидесятников и стал пресвитером...

Подспудно любовь к делу рук моих все-таки жила во мне. Но долгие годы была она придавлена ревностным служением богу.

Вы спрашиваете меня, как верующие, в частности баптисты, относятся к труду. Помните, мы говорили о разновидностях труда, об отношении человека к нему, о том, чем труд вознаграждает человека? Так вот, и личный опыт, и многолетние наблюдения убеждают меня в том, что религия признает труд лишь как источник заработка, как средство «попечения» о «ближних» своих, то есть о «братьях» и «сестрах» во Христе. Правда, некоторые религиозные течения считают труд одним из средств спасения души. Но давайте подумаем, что оставляет религия верующему из того многообразия, о котором мы говорили. Общественный смысл труда? Конечно же нет, ибо общественное сознание верующего религия стремится подменить общинным, то есть выработать у человека психологию, во многом схожую с частнособственнической. Вам это кажется парадоксальным? Возможно. Впрочем, судите сами — один человек посадил и вырастил сад, обнесенный глухим забором. Плодами сада пользуются только он сам и его пусть даже многочисленные родственники. А другой разбил сад на пустыре и вырастил его для всех — друзей, соседей и вовсе незнакомых людей. Можем мы эти два поступка поставить в один ряд по их нравственному содержанию? Вот так же и в отношении к труду. И баптизм, и пятидесятничество стараются отделить верующих от неверующих, отгородить их тем же глухим забором от окружающей жизни, сделать общественный труд каждого из них лишь заботой об интересах общины.

Но может быть, религия помогает верующему получить удовлетворение от результата его труда? Тоже нет! Ведь с точки зрения почти любого вероучения человек не удаляется от бога и не приближается к нему, не становится более грешен или праведен в зависимости от того, что выйдет из его рук — необходимое людям или совершенно ненужный предмет. Даже те религиозные течения, которые считают труд средством спасения души, не предписывают человеку вдумываться в общественный смысл труда, стремиться получить

удовлетворение от совершенства сработанной им вещи, но только добросовестно выполнять то, что положено. Пусть труд его рук потом хоть на свалку.

Процесс труда? Но какое удовлетворение может принести труд неосознанный, неосмысленный? А как его осмыслить, если руки — работе, мысли — богу? Возможность отдать себя людям? Но ведь верующий должен отдать себя богу и «милосердию», то есть помощи своим единоверцам. А люди — «мир» — греховны, суетны и блуждают в потемках. И все их стремления, с точки зрения убежденного баптиста или пятидесятника, суета сует и всяческая суета! Значит, и этот смысл для верующего утрачен. Остается только одно — источник заработка. Конечно, в жизни все часто выглядит иначе. Но это уже не благодаря религии, а вопреки ей!

Вы верно заметили, что евангельские христиане-баптисты и пятидесятники, как правило, добросовестно трудятся на производстве. Да и сами они — а в прошлом и я — часто и с гордостью говорят об этом. Это правда, но не вся. Для всей правды надо хорошо знать, чем предписывает жить верующему религия, какие надежды и стремления старается внушить ему. Иначе у нас в руках окажется не истина, а мнение иных начальников: «По мне лучше два баптиста в цехе, чем один участник художественной самодеятельности». Он живет не истиной, а мнением, судит не мыслью, а мимолетным взглядом, а потому за деревьями не видит леса, за водной гладью — подводных скал. По-моему, человек ценен для общества не только и даже не столько тем, сколько он произвел материальных ценностей, сколько тем, что он создал в процессе труда, в общении с рабочим коллективом, с родными, друзьями и соседями, как человек среди людей. В мире существуют счастье и горе, радость и печаль, зло и добро, любовь и ненависть, справедливость и произвол. Все это реально существует, и каждый из нас сталкивается с этим ежедневно, ежечасно. Так вот, смысл существования человека на земле, по-моему, в том, чтобы вокруг него больше становилось добра, радости, справедливости и меньше ненависти, зла и горя. А ведь труд — одна из основных форм воздействия человека на окружающую жизнь. И те детали, изделия, которые создаем мы на производстве,— это не про-

сто станки, ткани, дома и так далее. Попав в человеческие руки, они тоже становятся источниками радости или огорчения. Но разве человеческая суть труда проявляется в том, сколько я изделий сделаю? Это, безусловно, важно для людей, для общества. Но ведь можно создать станок-автомат, который будет производить в десятки, в сотни раз больше продукции, чем самый добросовестный токарь, штамповщик, слесарь.

Следовательно, смысл человеческого труда не столько в том, насколько добросовестно человек выполняет свою работу, сколько в том, что именно вкладывает он в свой труд, связывает ли его с трудом всего коллектива, всего общества. Ведь можно очень добросовестно, перевыполняя норму, изготавливать обувь, которая давно уже вышла из моды. Вообще можно очень добросовестно и старательно делать многое, что заведомо не имеет смысла. Так вот, религия, даже если она требует от верующего добросовестного отношения к труду, на самом деле стремится уподобить его станку-автомату: наштамповал детали, а там хоть трава не расти. Увеличивается ли при этом количество добра и радости? Вы будете ходить по магазинам — полки забиты обувью,— а купить хорошие ботинки не сможете! В секции одежды будут рядами висеть костюмы, а вы уйдете без покупки! Въехав в новый дом, вы скоро услышите сквозь стены, как зовут всех ваших соседей и у кого что готовится на обед! Можете быть уверены — все это результат работы людей, равнодушных к своему делу, которые, конечно, встречаются как среди верующих, так и среди неверующих. Но у нас с вами речь о том, что религия предписывает.

Да, и евангельские христиане-баптисты, и христиане веры евангельской — пятидесятники, как правило, добросовестно относятся к труду. Однако, чем больше верующий придерживается духа и буквы религиозных заповедей, тем в более странное положение он попадает. Так, например, он должен добросовестно выточить деталь по чертежу, даже если заметит в нем ошибку. И добросовестно получить за это деньги. А деталь, в которую вложены общественные, то есть наши с вами деньги, выбросят в металлолом. Конечно, в жизни не каждый верующий так поступит, но опять-таки не благодаря религии, а вопреки ей!

Вот вы сомневаетесь, бывает ли так, вам это кажется крайностью. Так я вам другой пример приведу, чтобы не доказать даже, а просто механизм, что ли, раскрыть, объяснить, почему это возможно.

Помню, в Красноярскую общину пятидесятников часто ходил беседовать с верующими местный атеист Илья Львович Воеводин. Однажды зимой шел он с сынишкой по льду речки, что неподалеку от молитвенного дома течет. И ребенок, заигравшись, побежал к промоине. Ну, отец конечно же бросился вслед за ним, подхватил его на руки, но лед под ним проломился. Поднял Воеводин мальчика, промокшего в студеной купели, а из промоины выбраться не может — ухватиться не за что, локти по льду скользят. А на льду стояла проповедница общины. Стояла как из камня высеченная. Вы думаете, она руку Воеводину подала? Людей позвала на помощь? Ребенка обледеневшего схватила на руки и в ближайший дом отнесла? Нет. Так и стояла, ни руки, ни звука не подала — отрешенная и спокойная. А у нее на глазах два человека погибали... Выкарабкался Воеводин все-таки из проруби, заледеневшего сынишку на руки, ободранные о лед, и обогреваться... А проповедница повернулась молча и пошла своей дорогой...

Вы думаете, она из ненависти, по злобе так поступила? То-то и оно, что не из ненависти! Она в этом перст божий увидела! Она Воеводину ни зла ни добра не желала. Зла — потому что прощать должно даже врагам своим, а добра, потому что он — Воеводин — безбожник и, значит, обречен всевышним на муки вечные. Но когда Воеводин с сынишкой в реке погибали, для нее в этом воля божья проявилась, ибо сказано, что ни один волос не упадет с головы без его воли. А как же ей вмешиваться в суд господен? Вот ведь какую психологию воспитывает у верующего религия. И если верующие в большинстве случаев ведут себя все же не так, как эта проповедница, то не потому, что они следуют религиозным предписаниям, а потому, что под влиянием живой жизни, окружающих людей, всей обстановки нашего общества они эти предписания нарушают. А вы про ошибку в чертеже не поверили... Любой промах, любая ошибка конструктора или даже товарищей по работе должна быть воспринята верующим как воля божья, как наказание безбожни-

кам. И чем более «крепок» баптист или пятидесятник в вере, тем сильнее это убеждение.

Но и добросовестным такой труд кажется только на первый взгляд. В той же Кустовке не раз и не два наблюдал я картину, способную возмутить любого непредубежденного человека. «Шесть дней работай... а день седьмой... богу твоему»,— сказано в Библии. И вот, пахота ли, сев ли, уборочная, в воскресенье вся община «добросовестных» работников проводила в молениях. А ведь знали (как не знать!), что в это время день год кормит. У одной из «сестер» общее собрание колхозников даже приусадебный участок отобрало, ибо никакими уговорами ни ее, ни ее взрослого сына нельзя было заставить вырабатывать хотя бы минимум трудодней. И когда однажды во время грозы ее дом сгорел от молнии, то православные верующие говорили, что это ее бог наказал за нерадивость и леность.

Таких примеров можно бы много привести. Только ведь из примеров правило не составишь. И среди верующих, так же как и среди неверующих, разные люди встречаются. Но в одной закономерности я убежден: чем более привержен верующий к богу, тем меньше — к людям, к труду.

А если уж говорить о пастырях... За все время (а встречался я со многими пресвитерами, проповедниками, «слугами» групп и т. д.) видел я одного-двух, от силы трех человек, сочетавших в себе искренность веры, праведность и бескорыстие. Остальные же (пусть простят меня верующие, но говорю только то, что сам видел) используют свой авторитет для бездельного житья! Ох, много могу я вспомнить. Про Андрея Семкина я уже говорил... Да вот, ни на шаг не отходя, в той же Кустовке пресвитер Семен Елисеевич Кузнецов — уж как он только не крутил, не толковал Библию, чтобы заставить верующих работать на него! И работали! И сено ему косили и сушили, и продукты носили, и чего только не делали. Ни одна самая работящая семья не могла бы держать столько скота, да птицы, да пчел, как благообразный Семен Елисеевич. Мало того, что все это делалось руками верующих, так они еще себя и в долгу неоплатном перед ним считали... И так многие духовные пастыри.

Вот вам и отношение к труду. Проповедники и пре-

свитеры обычно ссылаются на текст из послания апостола Павла: «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и господь повелел проповедующим евангелие жить от благовествования». Однако если читать это послание дальше, то следующий стих начинается словами: «Но я не пользовался ничем таковым». Апостол не пользовался! А духовные пастыри внушают верующим, что если они не будут соблюдать сказанное в предыдущих стихах, то впадут в грех! Более того, во втором послании апостола Павла к фессалоникийцам сказано ясно и определенно: «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас,— не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб».

Я нарочно привел эту цитату целиком, чтобы никто из моих бывших «коллег» не смог упрекнуть меня в передергивании текста Библии или в его подтасовке. Как видите, в Библии есть два руководства: одно — разрешение проповедующим жить от благовествования, то есть на пожертвования верующих, и второе — пример апостола Павла, прямо называющего тунеядство бесчинством. Таким образом, пресвитер и проповедник может выбирать то, что подсказывает ему собственная совесть. Насколько я мог убедиться на примере трех вероучений — насчет совести они предпочитают говорить в проповедях. В жизни же, земной, реальной, слово их и дело их совпадают нечасто.

А сам я? Разве вышел хоть раз в воскресенье, когда это было необходимо? Задержаться и то не уговорить было. А на производстве, как в жизни, всякое бывает. И на заводе, и в колхозе, и на строительстве. Скажем, рабочий день кончился, вы умываетесь, собрались домой идти, а тут машины с бетоном... Один скажет: «Рабочее время кончилось. Быстрее ездить надо было».

И пойдет домой. А бетон — пусть серой скалой на земле схватится. Другой же чертыхнется, помянет недобрым словом начальство, и снабженцев, и растворный узел, но опалубку зальет, не даст пропасть и деньгам общественным, и чужому труду.

Конечно, баптист или пятидесятник не прогуляет из-за пьянки, не будет по часу в курилке сидеть, на производственном собрании в спор не полезет. Но вот скажите по совести, какого друга выбрали бы вы — спокойного, рассудительного, но равнодушного к вашим заботам или способного и в спор удариться, и разругаться, но всегда готового прийти на помощь? А ведь с делом рук своих, с трудом дружить надо. Иначе, я уже говорил, всем беда.

Религия предписывает верующим быть равнодушным и к смыслу, и к сути своего труда, равнодушный же человек хотя и зла намеренно не сотворит, но и злу поперек дороги тоже не станет.

Когда прошел я через баптизм, пятидесятничество, иеговизм, изучив эти вероучения досконально и ревностно, и не нашел в них истины, то постепенно понял, что и сам бог — заманчивая, утешительная, но только легенда, один из древних мифов, и не более того. Конечно, не вдруг и не просто это далось мне.

Помню, когда я стал читать атеистическую литературу, сверяя ее с Библией, которую знал назубок, меня буквально ошеломил один исторический образ. В подземных храмах древнего божества Митры были пещеры, куда посвященный входил глубоким старцем, испытав страдания и лишения семи ступеней приближения к великой тайне. И что же открывалось ему, когда он входил в святая святых? Только пустота! Пустота и мрак — вот чем оказывалась великая тайна веры, которой он посвятил всю жизнь! Страшный образ, страшный итог! Горько умирать, зная, что это навсегда. Но неизмеримо горше — сознавая, что твоя жизнь единственная истлела без пламени, что не оставил ты на земле ни следа, ни памяти о себе, что отдал свою жизнь поклонению пустоте, проповедям пустоты, призывам и мольбам, обращенным в пустоту...

Я ведь теперь снова бригадиром работаю столяров-стекольщиков. Я и рабочий, я и воспитатель. И то, что в жизни упустил, наверстать пытаюсь, что пережил — ребятам отдать, уберечь их от такой же горькой доли...

Жизнь ко мне лицом теперь повернулась — улыбчивым, подбадривающим. Друзья у меня, спорим, иной раз и разругаемся, а все друзья! Дети мои в детский садик ходили — я этот садик строил... В школу поступили — и тут наша бригада потрудилась. Даже если заболеют — и в поликлинику мой труд вложен. Да и вот эти полы, двери эти, окна — тоже работа нашей бригады. Да разве только здесь? По всему Красноярску стоят, окнами подмигивают. Бывает, устанешь или взгрустнется вдруг, подойдешь к одному из них, ладонью по стене проведешь — и теплее становится на душе. Это труд твой, любовь твоя радость на земле умножила, частицу счастья людям добавила...

И вот что еще кажется мне... Чем больше любит человек свой труд, свое дело, тем труднее религии подчинить себе его помыслы, от дела его оторвать. Верующие — они ведь тоже разные. И баптизм, и пятидесятничество — они от человека только той «добросовестности», о которой мы говорили, требуют. А иеговизм — тот к общественному труду, по существу, вообще спиной поворачивается. Я о нем сейчас и говорить не хочу. Я — про баптизм и пятидесятничество. Так вот, если верующий живет своим делом, любит его, думает, как бы лучше да красивее его сделать, он чуть ли не отступник от веры. Но такие люди, если и бывают захвачены религией, то проходят ее насквозь, словно темный тоннель. Только для одних он короче бывает, для других длиннее. Потому что такой человек думать привык, искать привык. А религия этого не любит. И баптизм и пятидесятничество уверяют верующих, что бог сотворил мир за шесть дней «и увидел, что это хорошо», и, дескать, нечего человеку ни убавить, ни прибавить. Но ни то, ни другое вероучения не могут убедить человека, любящего свой труд, что «это» действительно безупречно, что нет смысла в земном существовании человека, кроме служения богу. А потому, пройдя сквозь религию, сквозь свой тоннель, обязательно выйдет такой человек к солнцу, в земную жизнь, и вновь примется за дело рук своих, за бесконечное сотворение мира для себя, для своих детей, для всех людей на земле. Многие приходили в религию, и многие ушли из нее, как ушел я, чтобы творить, чтобы создавать. Ибо трудом жив и славен человек на земле и в памяти людской.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

Наш разговор о поисках и о трудных истинах бытия подходит к концу. Я не знаю, кто ты, мой читатель. Может быть, ты молод, здоров, весел и, вступая в жизнь, которая, по существу, вся еще у тебя впереди, смотришь в будущее с уверенностью и оптимизмом.

А может быть, ты человек средних лет и годы зрелости заставили тебя о многом задуматься, что-то переоценить, в чем-то разочароваться.

Или же, как и я, ты вступил в ту пору (для одних она начинается раньше, для других позже, ибо возраст человека в конечном счете определяется не количеством лет, а прожитым и пережитым), когда люди подводят уже предварительные итоги тому, что сделано, сопоставляя с тем, что они хотели сделать в своей жизни.

Впрочем, возможно, что и эта пора у тебя уже позади и, убеленный сединами и умудренный долгими годами жизни, ты уже без прежнего трепета и волнения смотришь на пережитое, понимая, что ничего уже нельзя ни вернуть, ни исправить, что жизнь уже прожита и главное теперь правильно понять и оценить ее во всех ее радостях и горестях, удачах и промахах, тяготах и свершениях. Ибо есть время юности — и это время дерзаний, есть время зрелости — и это время свершений, и есть время старости — и это время мудрости.

Мы можем оставить нашим детям и внукам деньги. Они им пригодятся, нет слов, но надолго ли их хватит?

Мы можем оставить нашим детям и внукам квартиру. Но разве не заработают они ее сами?

Но мы можем оставить нашим детям и внукам мудрость. И если это истинная мудрость, то через десятки, а возможно, и через сотни лет мы по-прежнему будем живы в наших детях, внуках и правнуках этой мудростью.

И кем бы ты ни был, мой читатель, мне хотелось бы, чтобы ты поразмыслил над трудными судьбами ее героев, ибо судьбы эти о многом говорят и многому учат. И прежде всего учат тому, где искать истину.

Я часто думаю о том, как бы могла сложиться жизнь таких, безусловно одаренных, людей, как Семен Николаевич Теплоухов, Михаил Пантелеевич Карагяур, Евдокия Михайловна Сидоренко, Виктор Иванович Гарбузов, и многих других моих знакомых со схожими судьбами. Сколько добрых дел могли бы они сделать, если бы жизнь их была подчинена служению людям, а не иллюзии. Они потеряли время, растратили впустую годы пребывания в лоне религии.

Судьбы наши есть не что иное, как дороги, которые мы выбираем в жизни. Мы сами их выбираем, и, значит, сами выбираем свою судьбу!

А теперь давайте вернемся к тому разговору в поезде, которым началась эта книга.

РАЗГОВОР В ПОЕЗДЕ

(Вместо послесловия)

...Николай Иванович эффектно, не шевелясь, выдержал паузу, затем достал платок и вытер капли пота, выступившие на лбу и шее...

— А вы, наверно, пользуетесь успехом у верующих? — помолчав, сказал Григорий Павлович, глядя на Николая Ивановича с откровенным интересом.

— Пользуюсь! — жестко отрубил тот.

— А жаль! — столь же жестко сказал Григорий Павлович, мгновенно посерьезнев и как-то внутренне подобравшись.

— Это почему же? — в свою очередь с любопытством спросил, успокоившись уже, Николай Иванович.

— Да потому, что сами в трех соснах заблудились и других за собой тянете. Вы ведь, если я не ошибаюсь, проповедник?

— Пресвитер, Григорий Павлович, пресвитер!

— Тем хуже, Николай Иванович, тем хуже. Когда слепой ведет слепых, далеко ли они уйдут? А у вас ведь в голове сущий хаос творится, и лишь один огонек в нем мерцает — бог! Вы, Николай Иванович, пытаетесь богом все объяснить и к богу все свести. А ведь если я сейчас начну это делать, вы же первый начнете возражать.

— Да что вы начнете делать? Ну приведете вы свои опровержения доказательств бытия божьего. Так ведь нынче даже ребенок знает, что бога разумом постичь невозможно, а уж тем более логикой!

— Но и доказать существование бога тоже невозможно! Да и дело даже не в этом. Дело в том, что именно вы имеете в виду, когда говорите «бог»?

— А я уже сказал. Бог есть любовь, бог есть высшая справедливость, бог есть высшая истина!

— И создал бог небо и землю, и отделил свет от тьмы, и сотворил рыб больших, и всякую душу животных пресмыкающихся, и всякую птицу пернатую, и человека по образу и подобию своему?

— Истинно так!

— Тогда позвольте вас спросить, а чей это бог?

— Как чей?

— Православный, католический, лютеранский, баптистский, иеговистский, буддийский, исламский? О чьем боге вы говорите?

— Бог, Григорий Павлович, один, а веры разные.

— Одна правильная, а все остальные неправильные?

— Не совсем так, ну да это неважно.

— Понятно. А бог, значит, один — вездесущий, всеблагой, всемогущий?

— Да!

— И вера в него всегда учила именно доброте, любви к ближнему, бескорыстию и справедливости?

— Истинно так!

— А крестовые походы во имя божье? А костры инквизиции? А Варфоломеевская ночь? А расправа с раскольниками в России? Нет той веры, которая твердила бы «не убий» и сама же не учила бы убивать! А вы — о доброте, о любви к ближнему!

— Есть такая вера!

— Баптизм?

— Да!

— А Хиросима и Нагасаки?

— То есть?

— Кто отдал приказ об их бомбардировке атомными бомбами?

— Наверное, президент Америки?

— Безусловно. Георг Трумэн. Баптист.

Николай Иванович хотел что-то сказать, но смешался, подыскивая достойный ответ. Однако, прежде чем он успел что-либо возразить, вновь заговорил его оппонент.

— Я вижу, что вы этого факта не знали. А между тем это так. Больше того, Трумэн говорил, что, перед тем как отдать этот приказ, он обратился с молитвой к богу и получил благословение. Конечно, вы, Николай Иванович, можете возразить, что вероучение — это, мол, одно, а поступки того или иного человека —

совсем другое. Что, мол, даже верующий человек может не так понимать идеи и смысл вероучения, может даже нарушать их, но виновато не учение, виноват тот или иной человек. Ведь именно это вы хотели сказать?

— Да, примерно то же самое,— настороженно ответил пресвитер.

— А тогда что же это доказывает? — быстро спросил Григорий Павлович.

— То есть? — не понял Николай Иванович.

— Это доказывает,— медленно произнес Григорий Павлович,— что религия не обладает монополией на нравственное совершенствование человека, что религиозность не спасает от нравственных и духовных пороков!

— А вы, Григорий Павлович, мягко стелете, да жестко спать. Эк вы разговор-то повернули. Почему же не обладает? Почему же не спасает? Но только человека, искренне и глубоко верующего, соблюдающего все заповеди вероучения. В том-то и беда, и тут уж правда ваша, что многие считают себя верующими, но мало в ком сильна истинная приверженность богу. Как сказал Христос, много званых, но мало избранных...

— А сами-то эти люди искренне считают себя верующими?

— Да они-то искренне, но...

— А если они искренне считают, что верят в бога, значит, они искренне верят?

— Да они-то искренне, но...

— И значит, даже искренне верующего человека религия не всегда спасает от нравственных и духовных пороков?

— Я уже ответил вам на этот вопрос!

— Значит, даже искренне верующего человека религия спасает от нравственных и духовных пороков только при одном условии — если он выполняет все заповеди вероучения?

— Выходит, что так,— согласился Николай Иванович.— Конечно, даже верующих не всех и не всегда вера может спасти от пороков. Но вы, Григорий Павлович, и сами понимаете, что без высших истин, без духовных поисков, без нравственных и моральных устоев род человеческий существовать не может, деградирует. Не случайно же вы включили лучшие за-

поведи учения Христа в свой моральный кодекс строителя коммунизма...

— Э, нет, Николай Иванович,— быстро возразил Григорий Павлович,— тут уж вы меня извините. Вспомните, сколько веков существовало человечество до христианства. И нравственные нормы «не убей», «не укради», «не лжесвидетельствуй», «возлюби ближнего» и так далее существовали уже тогда. Стало быть, не мы взяли их из учения Христа, а христиане заимствовали из существовавших до них норм нравственности.

— В чем-то я могу с вами тут согласиться, хотя и представляю это себе несколько иначе. Но не в том дело.

— А в чем же? — задорно спросил Юра.

— В том, что и вы и мы, по существу, призываем человека к одному и тому же, только на деле-то вы, материалисты, оказываетесь еще большими идеалистами, чем мы. Помните, у Достоевского: «Если бога нет, то, значит, все можно?» Получается, что человек у вас сам себе судья! А он ведь слаб и грешен! Как же себя не оправдать-то, как же себя не простить? Вот и выходит, что если бога нет, то и справедливость человеку ни к чему, и доброта, и праведность — смысл-то в них какой? Зачем они? Делай так, как тебе выгоднее да удобнее, только делай это тайком, и все тебе с рук сойдет, никто тебя не осудит — люди не узнают, а высшего судии над тобой нет, и нет тебе за то высшей кары, а значит, и справедливости нет! Ведь вы, Григорий Павлович, разрушаете в человеке, а тем самым и в обществе понятие о справедливости...

— А вы, стало быть, его укрепляете! — усмехнулся Григорий Павлович.— Вы, стало быть, внушаете человеку представление о высшей справедливости и нравственности. И как же они у вас выглядят? По схеме я тебе, а ты мне? Я выполняю твои заповеди, а ты мне за это — царство небесное? Я буду творить добро, буду любить ближнего своего, но не по велению души, не по зову сердца, а за приличное вознаграждение! Вера-то ваша, Николай Иванович, на чистой корысти основана...

— Да ведь если так рассуждать, то получится, что все наше общество тоже на корысти построено. Ты —

государству, государство — тебе, ты хорошо работаешь — тебе хорошо платят, ты людям добро делаешь — и они тебе добром отвечают. А если ты им зло? И они тебе — зло. Но тут-то у нас с вами и проходит межа. Мы учим человека на зло отвечать добром, а вы — злом. Нельзя творить добро насилием, добро, утверждаемое таким способом, становится злом. Вот и судите сами, чьи представления о добре и зле, о справедливости совершеннее — ваши или наши. У нас над человеком есть высший судия, знающий все тайные движения его души, у вас человек — раб своих страстей, ибо нет над ним высшей справедливости, воздаяния по делам его.

— Верно, Николай Иванович, здесь у нас с вами проходит межа. Да и не только здесь. Кстати, если вдуматься, то не такие уж вы непротивленцы, какими хотите выглядеть, и у вас добро, конечно добро в вашем понимании, тоже с кулаками бывает. Если верующий заповеди нарушает, если, скажем, пить начинает, вы что с ним делаете?

— Увещеваем, молимся за него.

— А если он продолжает?

— Ставим на замечание.

— А если и это не действует?

— Бывает, что и отчисляем из общины.

— Даже против его воли?

— Зачем же против? Именно согласно его воле: хочешь — господу служи, а хочешь — в грехах душу свою губи!

— Ну, а если он все-таки и грешить не перестает, и из общины уходить не хочет?

— Мы на себя обет служить господу нашему взяли, живем посреди греха и соблазна. И потому не можем пустить грех в стадо Христово...

— Выходит, тоже боретесь со злом насилием. И наверняка считаете, что, исключая, делаете для этого человека добро: может, одумается, возьмет себя в руки! Оказывается, и у вас добро бывает с кулаками. И относительно корысти вы не правы, тут вы причину со следствием перепутали. Мы утверждаем, что человек должен быть добр, порядочен, сострадателен и честен не потому, что его за это кто-то чем-то вознаградит, а из уважения к другому человеку, из уважения к человеческой личности как высшей ценности. Мы воспи-

тываем в человеке внутреннюю потребность быть нравственным, а вы пытаетесь принудить его к этому, используя давний метод кнута и пряника. Ваша религиозная нравственность построена либо на корысти, либо на страхе — «аз воздам»!

— Именно так, Григорий Павлович, именно так — воздастся каждому по делам его. Или, как говорит народ, что посеешь, то и пожнешь. Мы сеем добро, понятие о справедливости, о милосердии, о сострадании, а вы подменили добро насилием, вы, как я уже сказал, разрушаете понятие о добре и зле, о справедливости, которые христианство веками утверждало на земле!

— Это не мы, это христианство во все века своего существования разрушало в обществе понятие о справедливости. Одни индульгенции чего стоят! Тут уж вы, христиане, сами себя переплюнули. Это же надо, возникнув как религия обездоленных и рабов, напрочь отрицающая всякое мирское богатство и роскошь, утверждающая, что легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому в царство божье, христианство докатилось до того, что стало распродавать это царство божье именно богачам оптом и в розницу...

— Что было, то было,— огорченно поддержал его Николай Иванович,— торговали учением Христа налево и направо. Христос менял изгнал из храма, а они церковь — невесту Христову — превратили в вертеп торгашей и разбойников... Так ведь католики это, Григорий Павлович, католики, а истинные последователи Христа признают только спасение личной верой...

— А раскаяние истинные последователи признают? Что больше будет на небесах радости об одном раскаявшемся грешнике, чем о девяноста девяти праведниках, не нуждающихся в покаянии?

— Конечно, признают...

— Значит, «не согрешивши, не покаешься — не покаявшись, не спасешься»?

— Грешно так ставить вопрос...

— Да что грешно-то, что грешно,— разгорячился Григорий Павлович,— ведь это же ваше учение приводит к логическому выводу — грабь, насильничай, убивай, а в конце жизни покайся — и никакой тебе кары. Где же ваша хваленая справедливость? Где же ваша хваленая нравственность? Получается, что если бог есть, то все можно?

В купе воцарилось молчание. Николай Иванович протер шею и лоб носовым платком, аккуратно сложил его и спрятал в карман, затем скучающе посмотрел в окно и сказал вежливо-отчужденным тоном:

— Вы, Григорий Павлович, можете, конечно, выписывать любые словесные пируэты. Однако, что бы вы ни говорили, одного вы отрицать не можете, не погрешив против собственной совести,— религия учит человека только хорошему...

Голос пресвитера вновь потеплел, он перевел взгляд на своего собеседника, и теперь во взгляде его и голосе явственно чувствовались искренняя грусть и горечь...

— Мы с вами, Григорий Павлович, целую словесную баталию провели, а ради чего? Ведь и вы и мы стремимся в человеке нравственность воспитать, и вы и мы учим его быть честным, добрым, совестливым, милосердным. И говорим ему, по существу, одно и то же, только разными словами. Пусть у нас разные взгляды на происхождение мира, на управляющие им силы, но в области нравственности нас, Григорий Павлович, больше объединяет, чем разъединяет. Хотя методы у нас разные, цель-то одна. И опыт наш — тысячелетний опыт, заметьте,— очень бы вам пригодился. А вы из-за разногласий, которые обычному человеку и скучны и непонятны, одной рукой пытаетесь утверждать нравственность, а другой же ее и разрушаете, воюя против нас и тем самым против нравственности. Ваше учение — для молодых, сильных, здоровых и счастливых, наше — для старых, немощных, несчастных и убогих. Отдайте кесарю кесарево, а богу — божье, оставьте бога тем, кто в нем нуждается, и вместе мы утвердим на земле мир, справедливость и добро. Вместе — мы спасем мир. Воюя — мы его разрушим. Так будьте же благоразумны — спасите мир, и человечество скажет вам спасибо! Спасите мир, и воздастся вам по делам вашим!

— Да, Николай Иванович, мир надо спасать, в этом вы правы. Только от кого — вот в чем вопрос. От нашей с вами полемики или от тех, кто постоянно бряцает оружием? От общества массового атеизма, которое считает человека творческого и нравственного целью и высшей ценностью социального бытия и которое считает право человека на жизнь первым, самым

главным и неприкосновенным его правом, без которого все другие права становятся лишь социальной демагогией? Или от таких людей и их объединений, которые, исповедуя христианские заповеди, и в частности «не убивай», и звоня во все колокола о нарушении прав человека в других странах, строят свое собственное благополучие на изготовлении орудий убийства, на разжигании вражды между народами, ибо без вражды невозможны войны, а без войн производство оружия теряет свой смысл? Вот от кого надо спасать мир. И тут вы правы, тут нам надо объединиться. Впрочем, это ведь тоже не бог весть какое открытие. Тут мы, Николай Иванович, давно уже объединились. Коммунисты и верующие различных религиозных направлений давно уже не только ведут на эту тему диалоги, но и активно сотрудничают в борьбе за мир и за разоружение.

Перечисляя разумные и гуманные заповеди, вы, Николай Иванович, почему-то предпочли «забыть» о других предписаниях вашего учения. Ибо сказано «возлюби ближнего», но сказано и «враги человеку — домашние его», «не любите мира, ни того, что в мире», «дружба с миром есть вражда против бога». Ибо хотя и гласит ваше учение «возлюби ближнего», но подразумевает оно лишь ближнего во Христе! Религия, Николай Иванович, стремится не объединять людей, а разъединять верующих и неверующих. Разве это гуманно? Разве это нравственно? Я много мог бы вспомнить предписаний вашего вероучения, противоречащих тем гуманным заповедям, которые вы приводили.

Но даже то разумное и гуманное, что есть в вашем учении, во имя чего внушается оно человеку? Даже если представить ваше учение таким, каким вы его пытались сейчас представить, а не таким, каково оно есть на самом деле, все равно разные у нас получаются цели, Николай Иванович, и средства их достижения тоже разные. Мы искренне верим в разум человека, в огромные возможности его духовного мира, в его творческую сущность. Наша цель — поднять общество и личность на новую историческую ступень, превратить человека разумного в человека творческого. Как я уже говорил, для нас человек — цель и высшая ценность социального бытия. Именно такое отношение и к себе и к окружающим стремимся сформировать мы в лю-

дях. Без настоящего, требовательного уважения к собственной личности, собственной неповторимой индивидуальности нет и не может быть подлинного уважения к другой личности, к коллективу, обществу. А без взыскательного и чуткого уважения к чужой личности нет и не может быть настоящего уважения к себе.

И здесь, Николай Иванович, я хочу напомнить ваши рассуждения о том, что мы, дескать, считаем, что все дело в условиях, в которых живет человек. А мы так не считаем. Условия являются определяющим фактором, но не всегда решающим. Условия создают возможность чего-либо, но любая возможность должна еще реализоваться. И здесь вступает в силу субъективный фактор — человеческое сознание. Если мы создадим условия для реализации творческих сил человека, но не воспитаем в нем потребности в творчестве, условия останутся неиспользованными и мы получим потребителя духовных и материальных благ. Если же мы воспитаем эту потребность, но не создадим условия для ее реализации, получим трагедию личности. Наша мораль, наша нравственность — это система норм и взглядов, утверждающая человеческую личность как высшую ценность социального бытия, всестороннее развитие ее духовных и творческих сил, как цель жизни, а их реализацию — как ее смысл. Вот, Николай Иванович, за что мы боремся, вот что мы утверждаем — реальное счастье человека!

А за что борется религия, Николай Иванович, что утверждает она? Современные богословы много говорят об устройстве жизни на земле, о работе «в мире». Да, среди других поучений религия предписывает человеку быть добрым, справедливым, любить ближних. О действительном смысле всего этого мы уже говорили. Теперь посмотрим — ради чего? Ради спасения, то есть ради счастья в загробной жизни. Да, религия служит утешением для миллионов людей. В чем смысл его? Стремление к счастью в реальной, земной, единственной жизни она переключает на надежду достичь его в жизни загробной, несуществующей. Те силы человеческой души, которые могут и должны быть употреблены на устройство счастья действительного, она отвлекает на служение богу, то есть на вымаливание счастья иллюзорного. Я далек от того, чтобы считать, что религиозный человек моральнее или аморальнее

атеиста. Но мораль религиозная — даже в лучших ее образцах — мораль индивидуалистическая. И религиозная нравственность в ее самом усовершенствованном виде — усеченная нравственность. Отрывая духовные и физические силы человека от строительства своего действительного счастья, религия обкрадывает самого человека. Обкрадывая личность, религия тем самым обкрадывает и общество. Вот вы, Николай Иванович, судя по всему, посвятили свою жизнь служению богу и утверждению веры. А теперь представьте себе хотя бы на минуту, что бога нет и нет царствия небесного. Сможете вы сказать, что прожили ее так, как должно, что не истратили впустую большую ее часть, что ваша личность, единственная и неповторимая, полностью раскрылась в этой жизни?

Вы молчите. Вам трудно это представить. Но если бы вы смогли, это была бы трагедия, как для всех тех, кто посвятил свою жизнь утверждению веры и под конец жизни понял, что утверждал иллюзию. Напомню вам слова Карла Маркса о том, что упразднение религии как иллюзорного счастья народа есть требование его действительного счастья.

— Все это так, если мир устроен согласно вашим взглядам, Григорий Павлович,— усмехнулся Николай Иванович.— Ну, а если бог все-таки существует?

— Вы уж меня извините, Николай Иванович, но с тем же успехом я могу поверить в существование Бабы Яги или Кащея Бессмертного. Во всяком случае, по своей научной убедительности эти идеи равны.

— Надеюсь, что разница во взглядах не помешает нам вместе пообедать? — обратился я к своим спутникам, видя, что диспут затухает.

— Нам наверняка,— улыбнулся Григорий Павлович,— а вам, Николай Иванович?

— Пища наша тоже от господа,— ответил Николай Иванович и, слегка помедлив, добавил: — Вы займите мне место. Я на несколько минут задержусь.

Мы отправились в вагон-ресторан. Вагоны слегка покачивало. Я думал о Николае Ивановиче, представляя, как, оставшись в купе, замер он в молчаливой, внутренней молитве, привычно анализируя свои промахи и удачи в этом долгом и трудном разговоре, каясь за невольные прегрешения и прося господа укрепить его в вере и наставить в споре...

СОДЕРЖАНИЕ

Вячеслав Леонидович Харазов

ТРУДНЫЕ ИСТИНЫ БЫТИЯ

Заведующий редакцией *А. В. Белов*
Редактор *М. М. Беляев*
Младший редактор *И. П. Гуров*
Художник *Ю. П. Шашков*
Художественный редактор *В. А. Тогобицкий*
Технический редактор *Н. А. Золотарева*

ИБ № 1024
Сдано в набор 16.01.79. Подписано в печать 14.05.79. А00359. Формат 84 × 108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 9,24. Учетно-изд. л. 9,25. Тираж 100 тыс. экз. Заказ № 3575. Цена 30 коп.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий», 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.